



Вячеслав Денисов

Огненный плен

«ЭКСМО»

2009

Денисов В. Ю.

Огненный плен / В. Ю. Денисов — «Эксмо», 2009

Лето 1941-го. Передовая. Шанс выжить – 1 к 9, но и этого призрачного шанса он лишен: НКВД продолжает преследовать его даже в окруженных фашистами лесах. Карательным органам нужна его тайна, но, пока она не раскрыта, он будет жив и спасет жизнь другим... Нацистам плевать на все – для них любой русский просто мишень... Он не преступник и не «враг народа»... Он не выбирал правила игры, но вынужден их принять... Судьба поставила ему ультиматум: вечный бой или мучительная смерть...

© Денисов В. Ю., 2009

© Эксмо, 2009

Содержание

Пролог	5
Часть I	19
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Вячеслав Денисов

Огненный плен

Роман основан на реальных событиях, но главные герои, персонажи и часть событий вымышлены. Автор просит не рассматривать его версию событий как претензию на историческое новшество. Совпадения случайны.

Пролог

Острый луч фонарика ослепил и заставил зрачки судорожно сжаться. Наверное, я мог бы убежать, но ноги не слушались. Страх, как змея, опутал их и начал сдавливать, лишая подвижности. Стараясь уводить глаза от блуждающего за моим взглядом луча, я краем зрения запечатлел тени – две. Ничем они не отличались друг от друга. Две большие, словно грубо размазанные по стене тени.

Между тем они стояли по обеим сторонам от меня, и их неподвижное ожидание меня куда больше интересовало, чем их – мое шевеление. Я, как освещенная со всех сторон препарируемая лягушка в лаборатории, вырван из мрака пучком света, весь как на ладони – безвольный.

«Александр Евгеньевич Касардин – это вы?» – мгновение назад прозвучал вопрос. Я должен что-то ответить, скорее всего – «да», и я так бы и сделал, верно, когда бы страх до конца придушил во мне человека. Но если я думаю сейчас: «Какого черта?» – значит, я еще не овца. Но уже и не человек, коль не спрашиваю.

Первая Тень подошла ко мне и взяла за рукав. От холодного прикосновения рука моя дернулась.

– Вы Касардин? – чуть тише и нетерпеливее. Эта смесь голосовых оттенков вместе звучит как угрожающее раздражение.

Я поставил руку под луч. Глазам стало легче. Фон посветлел. Теперь без труда могу различить шляпы на верхушках Теней.

И даже заметил на сером фоне лица одной из Теней черную повязку. Левого глаза Тень лишилась, очевидно, при задержании более пронырливых врагов.

Момент размаха я засечь не успел. Свет, в десятки раз ярче луча фонарика, пронзил пространство передо мной. Он вспыхнул не снаружи, а внутри моей головы.

Привкус крови я успел почувствовать еще до того, как сел на асфальт.

– Ты, сволочь, жестикулировать будешь или на вопросы отвечать?

Я открыл глаза, но лучше бы я отшатнулся назад. Сидящего, меня в лицо ударили ногой. Не возьмусь утверждать, какая из Теней это сделала – первая или вторая. Да и какая разница. Я был во власти обеих. Несмотря на то, что они имели свойство расходиться, когда требовали обстоятельства, вместе они образовывали одну большую тень. И тогда она становилась еще могущественней.

После удара я, уже не стесняясь своего унижения, повалился на спину. Тень ничего не сломала на моем лице, но гул, раздавшийся сразу после пинка, заглушал голоса – удалял их на сотню метров, не меньше.

– Да... – прошептал я.

– Что – «да», молекула? – тотчас раздалось в сотне метров над моей головой – никогда еще я не был так низок. – Ты будешь жестикулировать – «да», или «да» – отвечать на вопросы?

– Я буду отвечать на вопросы.

Плюнуть не получилось. Вышло как бросок неумелого ребенка – упало рядом. Комок перемешанной со слюной крови вылетел изо рта и шлепнулся на дорогу. Меж ним и моей дрожащей губой повисла ниточка. Я чувствовал ее присутствие – она жгла рану.

– Касардин?

– Я.

– Вставай, сволочь.

Я встал, и тут же меня повело в сторону. Я был слишком слаб для побега. Двое суток без еды и каждодневные побои мало вяжутся с подготовкой к побегу. Но все-таки я побежал. И финиш сам меня нашел. Я был похож на спринтера, которого выставили для бега на длинные дистанции. Стайер из меня получился никудышный. Как следствие этого – соль на губах.

Хлопок форточки на втором или третьем этаже дома, под которым все это происходит. Коротко и просто. Кто-то видел все, что здесь происходит. Он не знает, кто эти люди. И чтобы лишить себя возможности терзаться вопросом, нужна ли помощь тому, кого забивают, этот кто-то просто захлопнул форточку. Сухой кашляющий стук с едва заметным дребезжанием стекла. И – никаких проблем. Тема закрыта.

Я мгновенно представил себя там, за закрытым окном, где теплее, чем здесь, намного суше и сытнее. И тут же потерял силы. Горячая ванна, видимая сквозь прикрытые веки, кромка зеленоватой воды, чуть качающаяся и убаюкивающая, укачала мою волю. Падая, я успел зацепиться за рукав чекиста.

Последнее, что услышал, – треск материи и первые звуки вырвавшегося в висящую тишину сырой улицы сквернословия...

* * *

Они почти взяли меня три дня назад в гостинице. В том номере «Москвы», из которого, если верить администратору на слово, «всего пару дней назад» съехал Илья Эренбург. Те двое суток, что я жил в номере 402, мне не давала покоя мысль, что сплю я на кровати, на которой отдыхал человек-лиса, смотрю в то же окно и размышляю, быть может, над тем же самым, но по-другому. Разница между мной и Эренбургом в том заключается, что он может просто съехать. А меня в том же номере обязательно возьмут. Он ел в ресторане, не боясь оказаться застигнутым врасплох, я же торопливо засовывал куски в горло, когда увидел, как ко входу причаливает черный «Паккард». Успевать набивать организм калориями, зная, что в следующий раз покормят не скоро, – привычка бывалых беглецов. В момент, когда машина останавливается у гостиницы, в которой проживает тысяча человек, я точно знаю, кого она увезет. И даже не пришла мне тогда в голову мысль, что можно было попробовать уйти через чердак.

И снова мысль об Эренбурге щиплет, как занудный ребенок... Он получил Сталинскую премию неделю назад, а у меня к тому часу, когда в номер вошли трое в плащах, оставалось несколько червонцев. Человек-лиса явно превосходил меня в умении жить.

Виновен ли я в том, что знаю английский и немецкий, что учен и что шесть лет назад был направлен в командировку в Берлин, а семь лет назад бывал в США? Пожалуй, нет. Как раз я-то и не хотел ехать. Я выкручивался изо всех сил. В тот год я уже вывел для себя ту замечательную формулу исчезновения материи, при которой лучшие в одно мгновение становились ненужными.

Сталина, величайшего из дуалистов и лучшего из прагматиков, до начала войны пронзала мысль о том, что на белом свете всему отведено свое место. Хорошему – справа. Плохому – слева. «Что-то похуже» или «что-то получше» не имело места быть. Должен быть один театр, один архитектор, один писатель, один врач. Все остальные подлежат либо немедленному уничтожению, либо взяты под колпак, что в принципе сводится к первому. Люди с высшим образованием просто так за границу не ездят. Даже если их посылают туда не по их воле. Даже

если они сопротивлялись, обосновывая отказ болезнями. За границу мог съездить Горький. Для того чтобы убедиться в ужасах капитализма, дабы рассказать о них советским людям. Но хирург Касардин мог там побывать только с одной целью. Передать сведения германскому командованию о дислокации войск в районе Бреста и вступить в контакт с белоэмигрантами в Берлине. Или, на худой конец, вспомнить, что именно я был свидетелем рокового выстрела в Смольном первого декабря 1934 года. За что-то меня должны были взять.

Я предчувствовал, чем закончится эта командировка. Тем она и закончилась. Странно только, что они так долго ждали. Шесть лет после последней заграничной поездки. Срок немыслимый для стремительности НКВД. Интересно только, лично Иосиф Виссарионович отдавал приказ об аресте или же сработал автомат в механизме отлаженной машины? Все «заграничные» и до сих пор здравствующие должны быть немедленно арестованы. Я всего лишь врач. Я всего лишь врач...

Правда, я врач, державший голову истекавшего кровью Кирова...

Какая разница. В доме на одной площадке со мной жил милейший человек, профессор-орнитолог Глеб Маркелович Смирнитский. Кроме птиц, в этой жизни его ничего не интересовало. В свои шестьдесят он даже не был женат, и мне иногда казалось, что он тайно влюблен в Жар-птицу. Несчастливого старика вынули из квартиры в тридцать четвертом. Кому-то показалось, что его рисунки орлов очень напоминают фашистский герб. Через пять дней расстреляли. В квартиру профессора был вселен аппаратчик со стажем, который часто заходил ко мне, внося клубы алкоголя, говорил о ценности марксизма-ленинизма, коммунистической морали, нравственности и между делом интересовался, нет ли у меня на примете лиц, которые мешают социализму развиваться более быстрыми темпами. Поскольку лиц таких я не знал, то постоянно его разочаровывал. У него это вошло в привычку: как только он ко мне входил, тут же разочаровывался. Спустя три года после знакомства с ним я познакомился с НКВД. Меня вызвали на Лубянку. Чтобы я не опоздал, за мной приехали. В тот раз – всего двое в штатском.

* * *

Я был готов ко всему, но не к этому. У руководителя одного из отделов НКВД заболел живот, и ему захотелось, чтобы его осмотрел специалист высокого класса. К больнице высшего ранга он доступа не имел, поэтому не страдающие примитивизмом чекисты вызывали врача на дом. Точнее, к рабочему месту заболевшего. Ерунда, что через четверть часа я должен был проводить операцию. Живот чекиста важнее кисты заводчанина.

Странно чувствовать себя специалистом высокого класса в тридцать один год. Как они вышли на меня, я не знал. Одна из загадок моих сегодняшних обстоятельств.

Промыв желудок больному, я выглядел как Парацельс, поднявший на ноги смертельно больного мэра города. С этого момента началась моя работа в НКВД. Я сменил круг пациентов и с 1937 года работал в больнице Народного комиссариата внутренних дел.

Я сидел у изголовья многих. Раньше для меня они разделялись на «менее человеческих» и «более человеческих» – здесь я дуалист, теперь же, при свете луча фонарика – тех же сегодняшних обстоятельств, – я поменял названия группам бывших пациентов. Теперь я их делил на «болтливых» и «молчунов».

Болтливые говорили много, как правило, это были тяжелые больные. Отрицая церковь, исповедоваться они предпочитали перед лечащим хирургом. Так началось мое более близкое знакомство с НКВД. До прибытия одного из чекистов я и понятия не имел, что в Москве давно введено «соцсоревнование» между отделами НКВД. В приказе наркома внутренних дел говорилось – я не помню, конечно, дословно, но приблизительно выглядело это так: «Второй отдел в два раза превысил по сравнению с первым отделом число арестов за месяц и разоблачил участников контрреволюционных организаций на двадцать два человека больше, чем третий

отдел. Однако третий отдел передал двадцать дел на Военколлегию и одиннадцать дел на спецколлегию, чего не имеет второй отдел, зато второй отдел превысил количество законченных его аппаратом, рассмотренных тройкой, почти на сто человек».

Привычка слушать и запоминать дорого мне теперь обходится. За два часа до операции чекист Коростель рассказал мне, глядя в потолок и думая, что разговаривает с ним же, о том, как в Москве массовые аресты, которые заранее определялись по контрольным цифрам на арест по каждому отделу на каждый месяц в количестве 1000–1200 человек, превратились в сафари.

Вскоре я впервые услышал слово «бык» в совершенно ином для меня значении...

Проявляя вдруг невероятную богобоязнь, прибывший ко мне с переломом руки чекист со смешной фамилией Гадик, готовясь к смерти и почти плача, поведал странную, чтобы не сказать удивительную, историю. Нарком велел каждому руководителю отдела заготовить по двадцать быков.

– А где их взять, если в прошлом месяце исчерпали весь ресурс?

– Быков? – переспросил я, перестав ощупывать руку страдающего чекиста.

– «Бык» по-английски BULL, если это слово читать по-русски в обратном порядке, получится слово «Л-ЛУБ» от слова «ЛУБянка». Слово «ЛУБА» – так мы зовем старых пердунов в органах, сбившихся с линии, – означает «создание липового дела». «Шьют лубу» «виноделы» – опытные сотрудники из нового потока. Они же делают «быку» «вину», или «голубку», то есть методом прослушивания или доноса производят аресты и выполняют нормативы... Скажите, доктор, бывали ли на вашей памяти случаи, когда бы больной умирал от перелома руки?

Мне очень хотелось ответить: «Нет, ваш случай будет первым», но уже тогда что-то подсказывало мне о ценности молчания.

– Вы стрижете себе ногти, Гадик, можно ли думать исходя из вашего вопроса, что вы укорачиваете свою жизнь?

– Я просто переживаю.

– Не стоит.

Это его немного успокоило, и он рассказал, что «быков», как правило, отбирали из среды членов семей репрессированных. Они трогательно именовали их – СИР. По-английски даже почтительно. На самом деле это была всего лишь аббревиатура, позволяющая донельзя сократить длинную, компрометирующую характеристику: «член семьи изменника Родины».

– А где же «Ч»? – спросил я, заканчивая последние мероприятия перед рентгеном.

– Вы правильно подметили, – согласился он. – Поэтому их иногда еще называют «чехами».

– Скажите, Гадик, как вы умудрились сломать кисть в трех местах?

– Я бил в голову, но эта сука упала, и удар пришелся о деревянный бордюр на стене.

– Кто упала?

– Жена Стародубцева. Она решила, что можно привередничать и не писать о муже правду.

– Стародубцев, – проговорил я, вставляя в уши стетоскоп и знаком приказывая специалисту по проведению допросов Гадику поднять рубашку. – Я знал одного Стародубцева. В прошлом году у меня был пациент с панарицием...

– Он и есть. Директор трикотажной фабрики.

* * *

Александра Канель, вызванная в кремлевскую квартиру Аллилуевой и Сталина, откажется подписывать медицинское заключение, согласно которому жена Иосифа Виссарионовича скоростигжно скончалась от острого приступа запущенного аппендицита. Вместе с ней

откажутся заверить своими подписями этот документ и другие врачи Кремлевской больницы, в том числе доктор Левин и профессор Плетнев. Плетнев умрет первым, Левин – вслед за ним. В результате репрессий 1937 года. Их расстреляют. Александра Канель за два года до этого скоропостижно скончается от острого приступа менингита. Врач, согласившийся подписать такое медицинское заключение, сотрудниками НКВД был найден.

Я помню тот день, когда Канель, Левин и Плетнев были вызваны для фальсификации заключения. Меня чаша сия миновала, я был молод, а требовались подписи врачей-глыбин.

Но я не проклинал того, кто подписал медицинское заключение с подложной причиной смерти Канель.

Потому что до этого подписал такой же документ. Ну, или похожий на него...

* * *

Кирова, а для меня, врача, – Кострикова убили первого декабря 1934 года.

К тому времени, когда в Смольном появились профессора Добротворский и Гесс, немедленно вызванные и срочно доставленные, у члена Политбюро ЦК Кострикова уже не прощупывался пульс. И этот пульс не мог прощупать – я.

В ноябре заболела моя бабушка. Когда бы не любил я ее, сказал бы, что давно пора ей было заняться этим немаловажным в ее возрасте делом. Девяносто четыре года – тот возраст, когда прихворнуть пора. Я выехал к ней из Москвы и два дня провел у кровати в спальне, констатируя острую сердечную недостаточность. Ложиться в больницу упрямая дворянка отказалась наотрез. И мне не советовала. И через два дня спокойно ушла во сне. Я заснул на несколько минут, слушая чудесную историю о девочке, которую любил прыщавый, но невероятно обходительный юнкер. Под нее уснул, и виделся мне тот юнкер, с ужасными прыщами, почти с экземой, который лежал на юной девочке и, оестествляя ее, рассказывал мне о чудовищных порядках в его военном училище. И что до выпуска ему полгода, и что соляные растворы не помогают, и что если он все-таки кончит, то согласен взять родовую фамилию этой девочки, поскольку сам из бедной семьи. Я не помню, попросил он у меня, согласно обычаям тех лет, руки моей бабушки или нет, но, когда я очнулся и машинально взялся рукой за руку старушки, пульса уже не было.

Хлопоча о квартире, я отправился в Смольный. Как врача больницы НКВД, меня пропустили. Отсидев там у кабинета управляющего жилплощадями часа два, я услышал выстрел...

(Я не люблю неправду, от кого бы она ни исходила. Свое же вранье я воспринимаю как порок особой тяжести. Но эта версия до сих пор сохраняет жизнь одному человеку, и именно эту версию озвучила «Ленинградская правда», посему – извольте...)

И случилось это в пятом часу. Двое или трое вскочили со стульев и выбежали из приемной в коридор. Не пойму до сих пор, зачем я встал и последовал за ними.

Оказавшись в коридоре, я увидел странную картину. Неподдалеку от приемной, которую я с документами усопшей бабки в руках только что покинул, на паркете лежал...

Бывает же такое. Я столько слышал о человеке. И вот сейчас увидел его в метре от себя. Правда, в обстановке, когда нет желания поговорить или пожать руку.

На полу лежал Киров. Сергей Миронович. Его знаменитая фуражка вонзилась козырьком в пол, а задняя часть ее торчала, как парус. В руке, вывернутой наружу, была папка. Кровь выходила из-под головы Кирова медленным, густым приливом.

Не нужно быть хирургом, достаточно быть педиатром, чтобы понять – это конец. Киров уже вошел в кабинет, но не успел закрыть дверь. Пуля поразила его в основание черепа.

В суматохе я разглядел еще одно тело. Человек лежал на спине, смотрел на появившихся людей дикими глазами и сжимал в руке револьвер. Дальше что-то происходило. Кто-то стал пинать его ногами, потом я услышал призыв уничтожить злобную гадину на месте... потом

крик Угарова – секретаря Ленинградского горкома партии (я знал его, виделись пару раз) – он требовал справедливого возмездия, с судом связанного...

Я бросился к Кирову, приложил пальцы к сонной артерии. Пульс стремительной нитью я чувствовал, но понимал: еще минута – и он прервется. Сидящий на полу, я словно оказался в стаде овец. Меня толкали, грудились вокруг, я слышал бессмысленные, похожие на блеяние выкрики.

Кирова нельзя было транспортировать. Пульса у него уже не было, сердце еще живет, но уже не работает. Это первый закон медицины – такому больному нужно делать операцию здесь и прямо сейчас. На это есть несколько минут. Конечно, переместить его следовало немедленно, но на операционный стол. Но я не слышал, чтобы в Смольном такие были, а речи о больнице пока не шло. Нужно было что-то делать, и за меня решили партийные товарищи.

– Понесли его в кабинет, товарищи! – призвал кто-то, я попытался было открыть рот, но меня никто не слушал.

Кирова схватили, подняли. Из раны на голове сильно хлынула кровь. «Теперь все кончено», – подумал я, словно недавно сомневался в этом. Четверо человек внесли Кострикова в кабинет, уложили на стол. Я протиснулся сквозь ворвавшуюся следом толпу и снова прижал пальцы к шее раненого. Пульса не было. Нужна была срочная операция, в исходе которой я не был уверен, если бы прямо сейчас появилась бригада опытных хирургов. Но хирургов не было, были несколько человек из Смольного, которые пытались реанимировать раненого в голову члена Политбюро ЦК тем, что расстегивали ему подворотничок на гимнастерке и распахивали настежь окна.

Нечего и говорить, что мой поход в Смольный закончился ничем. Смольный прекратил работу.

* * *

И так я должен был запомнить и рассказывать эту историю до конца дней своих. Кто бы ни спросил.

Я запомнил.

И только что рассказал. И никак иначе, потому как от этого зависела не только моя жизнь...

* * *

Коллеги Добротворский и Гесс прибыли скоро, но поздно. Адреналин, камфора, кофеин... уверен, что они просто обрабатывали номер. Даже мне было понятно, что вернуть Кирова к жизни может только чудо. Но чудотворец не торопился продемонстрировать свои возможности. Он прибыл в Смольный, когда всех, в том числе и меня, оттуда уже вытеснили.

Впрочем, не успел я спуститься с крыльца, как меня тут же догнал красноармеец и какой-то человек в галифе и накинутой поверх штатского пиджака шинели.

– Доктор Касардин?

– Это я.

– Пройдемте со мной.

Ступая по только что запорошенному снегом мрамору крыльца, я вернулся в Смольный. Красноармеец остался у входа. А тот, что в шинели, бежал впереди меня, и – странное дело – он бежал, а я спокойно шел, и при этом расстояние между нами не увеличивалось, – оглядывался и показывал мне дорогу.

Мы возвращались в тот кабинет.

Когда я вошел, Костриков лежал уже на спине, гимнастерка на его груди была вспорота и откинута в стороны. В кабинете сильно пахло эфиром. Добротворский и Гесс укладывали инструменты и препараты в чемоданы, у окна и дверей замерли в ожидании чекисты. Кроме них рядом с залитым кровью столом стояли двое, один-то из них, развернувшись ко мне, и сказал:

– Вы оказывали первую помощь товарищу Кирову?

– Немного неправильно сформулирован вопрос. Вы хотели спросить – искал ли я пульс на шее товарища Кирова. И я бы ответил, что да, искал.

(Оторвав взгляд от чемодана, Гесс посмотрел на меня и поощрительно моргнул. Не знаю, можно ли моргать, выражая чувства, но в тот момент мне показалось, что было именно так.)

– Это неважно, – отрезал седоватый мужчина во френче. Я только тогда заметил, что он во френче, когда он произнес эту фразу и развернулся ко мне. – Главное, что вы первый из врачей, кто оказался у тела Сергея Мироныча.

Совершенно не представляя, что на это ответить, я промолчал.

– Вам, профессорам Добротворскому и Гессу следует подписать первичное заключение о смерти Кирова. В нем указать, что смерть наступила в результате пулевого ранения в голову. Кроме того, лично вам необходимо написать объяснение, в котором указать, что, выбежав в коридор, вы увидели Николаева, который сидел на полу и в руках у него дымился револьвер, – последнее адресовалось уже только мне.

– Простите... – я замешкался. – Я не знаю, от чего наступила смерть Кирова.

– Вы что же, не видели раны? – изумился человек во френче. Впрочем, мне показалось, что удивление деланое.

– Я видел рану. Но только ее. А смерть между тем могла наступить в первую очередь от ножевого ранения в живот.

Хозяин френча подошел ко мне, крепко взял за руку и как провинившегося ребенка подвел к столу.

– Живот товарища Кирова перед вами.

– Не могу подписать заключение, – я заупрямился. – Я не судебный медик. Я простой хирург. Мне не известно, чем болел покойный. После ранения в голову он мог умереть от сердечной недостаточности, от болевого шока, от потери крови, от динамического поражения головного мозга... Откуда мне знать это без вскрытия?

– А товарищ Киров – не простой человек! – Кажется, тот, что был во френче, вырвал из моей тирады главное. Кажется, он взял за труд объяснить мне, что необычные люди умирают не так, как посредственности. – Хотя... Позвольте вас на минутку...

Он снова взял меня за руку, сзади за нами увязался чекист в синих галифе, и этой процессией мы вышли из кабинета и двинулись по коридору. Через минуту мы зашли в кабинет без таблички.

Мне было предложено сесть, чекист покинул помещение, седой сел за стол.

– Товарищ Касардин, что привело вас в Смольный?

Я рассказал. Выслушав меня спокойно и быстро посмотрев на часы, мужчина проговорил:

– Вас знает Угаров, он-то и сообщил, что вы – врач. В Кирова стрелял Николаев, мерзавец, карьерист и психопат. Он уже дает показания. Наша задача – облегчить работу следствия. Вы можете помочь нам в этом. – Вынув из кармана папиросы, он закурил. Помахал в воздухе спичкой, бросил в пепельницу.

Я услышал хрустальный стук – легкий, невесомый...

– А ваша бабушка от чего умерла, товарищ Касардин?

– От старости.

– Квартира большая?

– Три комнаты.

– Ого. Три семьи заводчан можно разместить... – Он откинулся в кресле и выпустил дым через ноздри. – Скоро в Смольный прибудет товарищ Сталин. Как вы считаете – у него испортится настроение, если ему станет известно, что один из врачей не хочет помогать следствию?

– Помилуйте! – возмутился я. – Разве можно так ставить вопрос?

– Вопрос поставлен с революционной необходимостью! Так испортится или нет? И имете ли вы хоть крупицу партийной совести, прося за квартиру в тот момент, когда сотни тысяч рабочих семей ютятся в подсобных помещениях?

Кровь отошла от моего лица. Во-первых, я не коммунист, потому откуда, спрашивается, у меня должна иметься партийная совесть. Я вообще отказываюсь понимать, чем она может отличаться от беспартийной. А во-вторых, должен ли я вообще просить за квартиру, которая сто пятьдесят лет была родовым гнездом семьи Касардиных?

– Что же, вы меня убедили, – сказал я и положил на стол картонную папочку с прошением и другими бумагами. – Я действительно зарвался. Требовать жилье в Ленинграде в тот час, когда у кого-то его нет, – перегиб.

Этого хозяин кабинета, кажется, не ожидал. Расстегнув верхнюю пуговицу на френче, он размял шею.

– Вы безнадежно глупы или отважны?

– Разве это не одно и то же?

Шея седого вдруг налилась кровью.

– Белая мразь... – прошептал он. – Ты будешь в моем кабинете учить меня жить?..

Я помертвел и наконец-то очнулся. За нереальностью событий последнего часа я совершенно позабыл, что смертен.

– Ты подпишешь это заключение, – решил седой. – И моли бога, чтобы я забыл об этом разговоре.

Он не забыл. Несмотря на мои молитвы, справедливости ради нужно заметить, что были они вялы и неискренни, он – не забыл...

Москва, 1943-й...

Склизкий, холодный пол грузовика. Голова моя бьется об него на каждой кочке. Пахнет бензином.

Меня снова везут. Как же я привык к этому. И нет уже того удушающего страха, что был в первый раз...

– Кепка чекисту, говоришь, к лицу? – раздалось надо мной. – Нет, дружок, кепки я не ношу. И штиблеты – тоже. Зато вот у тебя скоро будет и то и другое. И заковыляешь ты в этих штиблетах до Соловков... сволочь!

И каблук вдавился мне в ухо...

Я подписал тогда, девять лет назад, все. Все, что от меня требовали. А человек во френче, седой, узнавший во мне белую мразь, подписал документы на квартиру. И теперь – тогда – она была моей. Я возвращался в нее, и всегда мне казалось, что сюда я домой возвращаюсь, в Ленинград, а не отсюда – в Москву. Даже самой холодной зимой стены жилища моей бабки, болтуны-контрреволюционерки, были теплыми на ощупь. Здесь пахло домом, покоем, и, когда я растапливал камин в гостиной, свет растекался по комнатам, неся с собой сонную дремоту и расслабление.

После подписания мною заключения о смерти Кирова, которое я даже не читал, некоторое время газеты и радио словно были отданы на откуп тому событию. Но помимо официальной версии – заговора против вождей, ходило много слухов. И первоисточники их продолжали и продолжали наполнять палаты больницы НКВД, где я работал.

Я слышал много версий спустя годы. Что только не говорят люди, находящиеся в бреду. – Вы должны знать, вы должны знать, Расторгуев!.. – хрипел, вонзив в меня безумный взгляд, один из старых чекистов. Он почему-то считал, что я Расторгуев. – Жену Ленина отравили по приказу Берии! В день ее рождения в тридцать восьмом – старая ведьма хотела опорочить товарища Сталина на съезде партии!.. Расторгуев, вы старый, закаленный в боях коммунист... Я могу быть с вами честен... Эту стерву с диагнозом «острый приступ аппендицита» оперировали срочно и, чтобы помнила, на кого руку поднимала, – без наркоза. Она протянула ноги в ужасных мучениях. – Он подтянулся ко мне на руках, держась за халат, и зашептал, обдавая отвратительным перегаром наркоза: – Ее праздничный скромный ужин состоял из вина, киселя, пельменей и белого хлеба... Сложите первые буквы продуктов, и получите – ВКПБ!..

Через два дня он выписался и, даже не поблагодарив за спасение его жизни от заворота кишок, – его праздничный обед представлял собой куда большее количество блюд, – убыл...

* * *

Опершись на ладони, я поднял голову, но одна из Теней тут же придавила ее подошвой ботинка.

– Лежать, сука. Теперь не убежишь. В «Москве» мы лопухнулись. Здесь – даже не думай. Я застонал, хотя боли не чувствовал. Пусть знают, что я тряпка. Уронил голову. Чересчур правдоподобно – ударился скулой, и лицо словно пронзило током.

– Сейчас бы чаю, – услышал я.

– В блюдце! И – кусок сахара, – добавила другая Тень.

– Когда-нибудь ты окажешься в комиссариате под подозрением, как извращенец. Как можно пить чай с сахаром?

Отсюда до Лубянки – полчаса езды по сырому асфальту. Скорость невелика – фары заляпаны грязью, и водитель боится срезать кузов о стену дома. Да, с легковыми у них, с «Паккардами» да «Эмками», нынче напряженка. Слишком много адресов и чересчур мало транспорта для доставки по ним проживающих. Эта полуторка, уверен, была забрана с какого-нибудь завода под нужды НКВД.

Как они меня вычислили?

Трудно думать, когда на голове чья-то нога. Ни одна мысль не приходит.

Там, в «Москве», меня сдала горничная. Я уверен в этом, потому что врач работает, всегда руководствуясь принципом исключения. Шевелит больной пальцами – значит, не перелом. Но руки поднять не может. Значит, растяжение. А в какой части руку поднять не может, если болит вся? В плече? Нет, поднимает. Может, в локте – нет, работает. Остается – кисть. Растяжение связок лучезапястного сустава. Так и здесь. Администратор? Его не было, когда я под фамилией Волков вошел в гостиницу. Был консьерж. Но он тупо записал меня в книгу, попутно разговаривая с кем-то по телефону, уверяя, что мест нет и не будет. Потом выбросил мне на стойку ключи, смахнул деньги, расписался в квитанции и швырнул мне квитанцию. И тут же стал снова кому-то звонить. Он видел фото, вклеенное в чужой паспорт, но содержание паспорта его интересовало мало, главное для таких людей – его наличие.

Я прошел в номер с портфелем, в котором лежал запас еды на трое суток, и два дня не высовывал носа из номера. Приходила горничная. Спрашивала, не убрать ли у меня, я отворачивался. Отвечал каждый раз: «нет, спасибо» или просто – «нет» и встряхивал перед собой газету. Горничная – человек НКВД. Почему-то сразу мне не пришло это в голову. Разве чекисты после открытия такого отеля – лучшего в стране – могли оставить его без присмотра? Штат тут же был заполнен их агентами – штатными и внештатными. Странно, что я так мыслю, когда

голова моя под ботинком. ... Значит, умные мысли в таких ситуациях все-таки приходят. ... Или они именно в таких случаях человека и посещают?

Сколько раз я встряхивал «Правду» перед ней, закрывая лицо? Раз пять, кажется. И на первом листе одна и та же дата – одиннадцатого сентября 1943-го. Удивительно, что нормального человека может несколько суток кряду интересоваться разворот одной и той же газеты.

Скорее всего они ехали именно за *Касардиным*, а не за подозрительным лицом. Потому что приехавший за мной оказался тем самым, что девять лет назад хватал меня, выходящего из Смольного, за рукав. Если бы не он, врезавшийся мне в память своими галифе, я лечил бы людей на фронте, а не скрывался под чужим именем в Москве. Есть, правда, еще один вариант: если бы не он, они бы меня не искали, потому что под Уманью в августе сорок первого я погиб.

Найти меня – это дело не только их чести.

И они меня ищут. Отсчет этой охоте начался с половины второго тридцать первого июля 1941 года...

В «Москве» он проявил себя не самым лучшим образом. И эта посаженная на кол энергетика передалась двоим его спутникам. Сам факт, что он увидел меня и узнал, осветил чекиста так ярко, что мелочи, как простая, к примеру, предусмотрительность, оказались не к месту. Наверное, вспомнив того молодого врача с несвойственным сильным личностям удивленным лицом, он расслабился. Ему и в голову не могло прийти, что девять лет – срок немалый для того, кто собирается во что бы то ни стало выжить.

Покачнувшись и схватившись рукой за лоб, я показал ему, что едва стою на ногах от ужаса. Этого показалось ему достаточным для празднования успеха.

– Мне нужно на балкон. ... – пробормотал я.

Он даже не ответил мне. Подозвав одного из своих, он стал что-то шептать ему на ухо. Видимо, советовал подготовить начальство к приему важного гостя.

На балконе я отдышался, перемахнул через перила и, слыша крик в комнате – «Куда, тварь?!», перевалился. Качнувшись, я занес тело на этаж ниже и свалился на чужой балкон.

– Номер триста два! – послышалось этажом ниже.

Прыгая через кровать, на которой занимались любовью, – занимались – именно в прошедшем времени, потому что с моим появлением заниматься любовью они перестали, – я зацепился ногой за одеяло и с высоты кровати рухнул на пол. Приземление на паркет было так неожиданно и мощно, что я задохнулся. Воздух выбило из моих легких, но меня это не остановило.

Метнувшись в прихожую, я распахнул дверь и увидел в конце коридора мчащегося к номеру чекиста. Того, кому на ухо нашептывались инструкции.

Если бы я жил в «Москве» хотя бы пару раз в месяц, я знал бы точно, куда бежать. Сейчас же я оказался в роли человека, который может метнуться в любую сторону и там оказаться в ловушке.

Тем не менее нужно было что-то делать.

– Стой, сука!..

Меня это подбодрило. За последние два года это слово в свой адрес я слышал несколько тысяч раз. Иногда я даже машинально поворачиваю голову в ту сторону, откуда оно доносится. Выработался рефлекс за годы: где звучит «сука» – там опасность.

Я ошибся или в руке у него действительно «ТТ»?..

На дороге оказался сотрудник гостиницы – я оттолкнул его в сторону, не сбавляя скорости. ... Какой-то глухой стук, что-то зазвенело. ... Он держал в руках что-то, и я даже не заметил что.

Сейчас можно ставить себе диагноз – симпатoadреналовый криз. Сердце готово выскочить из груди, в голове жар. Что делать?..

Что делать?!

Как загнанный в угол барсук, я стал вертеть головой в тупике коридора. Лестница – нет! Туда – нельзя! Меня собьют с ног. Бегущий человек – раздражитель, первая реакция – задержать. Бегущий следом мгновенно получает статус положительного героя. Так было всегда.

Чекист появился из-за угла и опустил руку с пистолетом, остановился. Мы оба понимали, что погоня окончена.

Опустив голову, я пошел к стене. К той, где висела репродукция видов столицы времен начала династии Романовых...

– Ну что, дружок... – задыхаясь от непривычного бега, просвистел легкими мой преследователь. – Финита ля комедия...

Я посмотрел в его глаза. Ни капли разума. Видит ли он то же самое в моих?

Лагерь. Я не хочу туда. Я был в лагере.

Оттолкнувшись от стены, я в четыре шага пересек коридор...

Слышал грохот рамы, чувствовал, как осколки стекла вспарывают мою кожу. Я молил лишь об одном – только не глаза.

Ударившись правой ногой о раму, я вылетел наружу. Третий этаж гостиницы, сколько ж это в метрах?..

Первое прикосновение спины к чему-то твердому я принял за удар об асфальт. Где заканчивался тот коридор? Бежал я в правое крыло или в левое? Я не соображал.

И асфальт вдруг провалился. Ощущение, что я проваливаюсь без суда и следствия сразу в преисподнюю, бодрости духа мне не добавило.

Но я на самом деле летел вниз. Правда, всего одно мгновение.

Разломав кузов и врезавшись в мешки с мукой, я услышал хруст позвонков и ослеп в одно мгновение.

Из пробоины грузовика, из щелей в его борту и открытой задней части кузова после моего падения вылетели снопы мучной пыли. Я представил, как это выглядело, когда, кряхтя и задыхаясь от динамического удара, вываливался наружу. Пятна белого цвета, медленно намокая и превращаясь в серое тесто, покрывали асфальт вокруг «АМО» на добрых десять метров. В воздухе стояла мучная завеса. Кто-то кричал.

Я слышал женский визг...

Скидывая на ходу пиджак и смахивая мучную пыль с ресниц, я, пригибаясь, кривой стежкой побежал по улице...

– Там мука была, товарищи, там была мука! – слышал я чей-то перепуганный голос. – Я вез муку, не взрывчатку!..

Водитель, понятно...

Сбавив шаг, я свернул во дворы. Сдернул с веревки почти сухую черную рубашку, так же – с треском ломаемых прищепок – сорвал и брюки. Перебежал двор и снова оказался на большой улице.

На какой?

Ветерок шевельнул мои волосы, но мозги не посвежели ни на йоту. Я совершенно не соображал, где нахожусь. Мне нужно принять водки и успокоиться. И переодеться. Черт возьми...

Нырнув в подвал, я завел руки в луч бьющего из оконца света и расставил пальцы. Они дрожали.

Переложив паспорт и деньги в карманы новых своих брюк, я скинул рубашку. Руки на ощупь – словно я только что подержал в ладонях сухой песок.

«Мяу-у!»

– Тебя тут только не хватало, – пробормотал я, стирая рубашкой муку с лица.

Покрутив напоследок туловищем, я выяснил для себя, что порезы – ерунда, кровь уже почти перестала сочиться, на черном сукровица будет незаметна. Ушибы есть, но коль скоро я хожу и матерюсь не от боли, а от досады, они незначительны.

Уже на выходе со мной что-то случилось. Меня вдруг поразил приступ хохота. Я вспомнил, как упал на муку.

Чарли Чаплин, не хочешь ли купить у меня этот эпизод?

Я шел по улице и смеялся. Люди шли мимо и не понимали меня. Они отходили в сторону, и через минуту веселой прогулки я вдруг понял, отчего они так пугливы. Я шатался и смеялся. В рубашке в сентябре. От таких стараются держаться подальше. Пьяные и веселые в Москве, в 43-м, либо бандиты, либо сумасшедшие. Вот так можно снова оказаться под колпаком...

У витрины я остановился. На меня из нее смотрел незнакомый человек с седой шевелюрой и впальми глазами. Я не знал его. Даже если половину седины смыть под душем – мука, я все равно был не знаком с этим мужчиной.

Сглотнув комок, я вспомнил, какие обстоятельства мне сопутствуют, и заторопился по улице. Это был Охотный Ряд...

* * *

И сейчас, лежа на полу грузовика, не видя ничего и чувствуя на голове ногу Тени, я думал о том, что могу понять Тень. Наверное, он получил тогда большую взбучку. И дело приняло серьезный оборот, коль скоро ищут именно Касардина, а не подозрительное лицо. Держать ногу на голове такого мерзавца – как приятно это, наверное... Полное ощущение виктории и следующего за ней всевластия.

Большие дела всегда начинаются с малого. Государственные перевороты, политические изыски, приводящие к державному могуществу, непременно начинаются с этого – ноги необразованного, наделенного властью человека, стоящей на голове того, кто выпадает из схемы, придуманной хозяином.

Дела государственной важности и убийства не относящихся к этому людей всегда были неотделимы друг от друга.

Кровь сочится из разбитого носа, тепло сливается на мою щеку, и это крошечное ощущение уюта – тепла среди сырости и совершенно невыносимого моего положения – становится причиной моих новых воспоминаний...

Я помню свою поездку в США в середине 30-х. Восхождение Хью Лонга на вершину политического Олимпа было воистину фантастическим. Обычный фермер за год превратился в видного политического деятеля. Сначала – губернатор, он совсем скоро стал сенатором, и уже никто не сомневался в том, что, проснувшись завтра, получит под дверь газету с новостью о решении Лонга вступить в предвыборную борьбу с Рузвельтом за право находиться в Белом доме.

Мой визит в Америку в качестве члена делегации советских хирургов по обмену опытом в Нью-Йорк совпал с апогеем борьбы Лонга с Рузвельтом. Так или иначе, находясь то на одной вечеринке, то на другой, мы становились свидетелями неординарного поведения Лонга. Для меня, выросшего в царской России и потом продолжившего жизнь в советской, выходки этого человека, который мог стать главой Соединенных Штатов, были невыносимы.

Я был свидетелем, как его выступление по радио могло заставить город встать в полном смысле слова. Статистика тех лет утверждала, что более тридцати миллионов американцев выходили на улицу и слушали выступления Лонга по радио.

На одной из вечеринок, куда мы были приглашены группой врачей из Нью-Йорка, я увидел этого человека своими глазами. Дело было в разгар избирательной кампании, и надо же

было так случиться, что именно в этом клубе Лонгу предстояло встретиться со своим конкурентом. Такому нечасто приходится становиться свидетелем, и я, предвкушая, ждал. Но до дебатов не дошло. На самом входе Хью Пирс Лонг, столкнувшись с противником, расстегнул ширинку, вынул член и стал мочиться на брюки политического конкурента. То, что я слышал при этом из его уст, отбивало само желание с ним соперничать.

– Вы – стенка, которую я обязательно подвину.

И на глазах всех его противник отступил. И тут же ушел из клуба.

Что-то подсказывало мне, что жить Лонгу оставалось недолго. В 1935-м Рузвельт потребовал у своей команды данные о возможностях и политическом влиянии Лонга. Отчет ему принесли быстро, и в нем значилось, что последний в состоянии собрать около семи миллионов голосов. Для входа в Белый дом этого было, конечно, недостаточно, но вполне хватило бы для того, чтобы заказать туда вход и Рузвельту.

Вечером восьмого сентября 1935 года к Лонгу в палате представителей штата Луизиана, в городе Батон-Руж, подошел молодой человек. Промолвив несколько слов, он вынул из кармана крошечный пистолет и нажал на спуск.

Последние слова истекающего кровью Лонга были: «Почему он стрелял в меня?..»

Ошеломленные охранники набросились на убийцу, последний попытался выстрелить еще раз, но безрезультатно: его пистолет дал осечку.

Судьба убийцы была заведомо известна. Над ним устроили самосуд, и после вскрытия стало ясно, что он получил почти шестьдесят ранений...

Почему я помню все это и откуда я это все знаю?

Убийцей Хью Лонга оказался врач, с которым я довольно долго, в течение трех часов, беседовал во время командировки. Шестого сентября мы с Карлом Уэйсом разговаривали о способах сращивания костей, а спустя два дня он выстрелил в Лонга. Одной из предположительных причин, почему Уэйс это сделал, было желание отомстить всемогущему губернатору за преследования, которым подвергался его близкий родственник. Но ничто не существует в одиночестве. Особенно – причины убийства. А потому есть и другая причина, которая также находится в статусе предположения. Лонга прикончил совсем не Уэйс, а один из охранников Лонга. С охраной иногда можно договориться. Когда не договариваются, охрану убивают. Кому нужны свидетели? Кто заказал? – хороший вопрос. Надеюсь, Рузвельт сейчас спит спокойно и совесть его чиста.

Я помню Уэйса. Его любили девчонки. Его нельзя было не любить. Он был слишком добр для этого и по-хорошему импульсивен. Как-то не укладывается в моей голове Карл Уэйс, стреляющий в Лонга.

Зато хорошо укладывается неврастеник Николаев, стреляющий в Кострикова. Впрочем, это для меня покойный – Костриков. А для остальных – вождь ленинградских чекистов Сергей Миронович Киров. Партийные клички в карты больных не заносятся.

А еще хорошо укладывается на голову, думающую об этом, ботинок чекиста.

Больше ждать нельзя. Еще два поворота и – Лубянка.

Вынув из кармана складной нож, я распрямил его. Заниматься этим можно было – раскрывать нож и складывать – всю дорогу. Темень такая, что не видно и поднесенной к лицу ладони.

Когда человек в постоянном стрессе, когда, лежа в постели на третьем этаже, просыпается от шороха мышей в подвале, когда в любой момент, не смахивая сон с лица, готов встать и уйти, процесс размышления над способом сохранения жизни следует одновременно с процессом размышления о пирожных или Лонге. И никогда эти пути не пересекаются. Беглец всегда думает в нескольких направлениях. И настигают его именно в тот момент, когда направления пересекаются.

Коротко замахнувшись, я вонзил нож по самую рукоятку в икру чекиста. Дикий крик, последовавший за этим, оглушил всех, кроме меня. Глушит, когда неожиданно, я был к этому готов.

Вскочив и ориентируясь на красную точку папиросы второй Тени, я с размаху ударил кулаком чуть выше этой точки.

Рассыпавшиеся по всему кузову искры и упавший на пол окурков подсказали мне, что удар нанесен правильно.

Схватившись рукой за дощатый, дрожащий бортик, я перемахнул через него.

Приземлился удачно. Лишь швырнуло в сторону уходящего «АМО» – силой инерции... Перекатившись три или четыре раза, я вскочил на ноги и огляделся.

Еще через минуту я мчался через дворы. В сорок лет это не так просто.

...Где я?

Разлепив веки, я осмотрелся. Рассвет еще не поборол ночь, но приближение его чувствовалось во всем – в предутреннем молчании города, в торопливых шагах возвращающейся с охоты кошки...

Я потрогал лицо. К ссадинам сорок первого года добавились несколько новых.

Побег из «Москвы», ночь, грузовик... нога одноглазого на моей голове...

Я опять изгой.

Но где же я?

Выбравшись из подвала, одного из немногих в Москве, что не использовались под бомбоубежище, я выглянул из-за косяка на улицу. Ага... Мясницкая. Эка куда занесло... Но не Лубянка – и то хорошо.

Вид был отвратителен. Москвичи в эту погоду в грязных брюках и рубашках не ходят. Либо ты военный, либо москвич. Все, кто одет не по этой моде, – в НКВД, пожалуйста... В кармане оставалось немного денег, но что они ночью?

Эх, где старые добрые таксомоторы и трамвайчики с вечно настроженными кондукторами?

Словно вор, я стал пробираться вдоль домов.

Сбавляя шаг, я уходил все дальше и вспоминал, как 1 декабря тридцать четвертого года в присутствии седого и троих чекистов подписал в Смольном два документа. Первый свидетельствовал о том, что смерть Кирова наступила от огнестрельного ранения в голову. Второй указывал на меня как на очевидца выстрела, послужившего причиной того самого ранения. Я шел по коридору. Навстречу – Киров. Вождь ленинградских чекистов уже входил в кабинет, как сзади к нему подошел, «как было позже установлено», Николаев и произвел выстрел из револьвера в затылок Кирову.

Я должен был помнить только это. И даже оставаясь один в комнате, самому себе рассказывать эту историю именно так.

Семь лет об этом никто не вспоминал. Но в июле сорок первого года я был неожиданно снят с передовой и доставлен в Умань для «разговора» с прибывшим сотрудником НКВД...

Часть I

Пощады не будет

В первые недели войны группа немецких армий «Юг», вламываясь на территорию СССР с запада, заняла Львов, а после и Тернополь с Житомиром. Пала Винница. Под Луцком – Ровно – Брами были разбиты механизированные корпуса нашей армии. Юго-Западный фронт дал трещину, сростить которую было уже нечем.

Разбитые мехкорпуса из состава Юго-Западного фронта – а их было шесть – атаковали силы надвигающейся машины, но были смяты. Несмотря на превосходство в численности техники и живой силы, атаки не принесли и крупницы той пользы, на которую рассчитывало командование. К двадцать девятому июня сражение было завершено и фронт сдвинулся на восток.

Десятого июля командование частями Красной армии на юго-западном направлении, где я находился в составе 9-го отдельного санитарного батальона, было передано Буденному. Об этом было заявлено повсеместно и торжественно, видимо, для поднятия боевого духа. Но продемонстрировать свое умение военачальника знаменитому командарму не удалось. Едва он приступил к управлению войсками общей численностью в полтора миллиона человек, сосредоточенных под Уманью и Киевом, как Первая танковая группа под командованием Клейста вклинилась между группировками и заняла Бердичев и Казатин.

Вокруг Умани медленно образовывалось кольцо. Нежданно-негаданно – и для Буденного, наверное, – немецкие войска оказались на севере от Умани. Беспомощность Буденного как командующего привела к тому, что почти в то же самое время, не встречая никаких препятствий, Семнадцатая армия вермахта под командованием генерала Штюльпнагеля зашла под Умань с юга. Через несколько дней пришла информация, что помимо Семнадцатой армии на восток двигается и Одиннадцатая армия генерала Шоберта.

Я не знаю, о чем думал Буденный. Не мое это дело – фронтом командовать. Медсанбат, где я не успевал ампутировать руки и ноги переполнявших лазарет бойцов, трещал по швам. Раненых складывали просто на земле дожидаться своей очереди. Очень часто, когда сестра докладывала мне о ранении и санитары укладывали больного на стол, он был уже мертв.

Второго августа группа Клейста соединилась с Семнадцатой армией Штюльпнагеля и замкнула окружение. На следующие сутки это кольцо было усилено вторым – Шестнадцатая танковая дивизия и Венгерский корпус закрыли все щели, через которые можно было выскользнуть хотя бы одному бойцу.

Восьмого августа части Красной армии прекратили сопротивление.

Двадцать дивизий Шестой и Двенадцатой армий из состава Южного фронта и их командармы Музыченко и Понеделин оказались в плену. В плен попали комкоры Огурцов, Кириллов, Снегов, Соколов...

Тысячи советских бойцов и командиров были пленены и загнаны, как скот, в приготовленный на территории карьера лагерь.

«Уманская яма» – имя ему.

Но тридцать первого июля, за два дня до полного окружения, меня сняли с передовой и вывезли в Умань, еще находившуюся на территории, занятой Красной армией...

* * *

В наглухо задраенной палатке, словно это было условием полной дезинфекции, я резал пилой кость у находящегося под наркозом бойца, когда среди воплей раненых и грохота орудий за спиной послышалось:

– Касардин!.. Товарищ военврач Касардин!
– Что? – отозвался я, сбрасывая со стола отчлененную ногу.
– Вас срочно вызывает начальник санбата!
Я обернулся. В палатке стоял боец. Еще живой. Как пришел, так и вошел – с винтовкой.
– Пошел вон отсюда!..
– Товарищ Касардин, ранение в брюшную полость, осколочное... – кричала сестра. – Летальный исход через несколько минут...
– Следующего!
– Пулевое ранение в голову, касательное, поражение глазного яблока, раздробление надбровной дуги!
– На стол!..
Я перевязывал орущего как под ножом, находящегося в панике танкиста. Угораздило же его высунуть голову в этот момент... Хотя угораздило бы в следующий – снесло голову.
– Из какой части, военный? – шутивно-свирепо поинтересовался я, чтобы хоть как-то прервать его непрерывный крик. Иногда больной демонстрирует чудеса спирометрии – он способен кричать минуту на одном дыхании.
Разрыв снаряда.
На палатку посыпались комья земли.
– Они рядом!.. – заорал кто-то слева от меня, на полу. – Увезите нас отсюда, пожалуйста, увезите!..
– Из Четвертого мехкорпуса! – прокричал, хрипя, танкист. – Они смяли нас, понимаете, доктор, смяли!..
Разрыв. Осколок свистнул, и я машинально поднял голову. Верх палатки словно был испорот бритвой. Через мгновение в этот идеальный по меркам хирурга разрез посыпался песок.
– Заделайте порез, быстрее! – зарычал я, видя, как мои инструменты покрываются пылью. Кто-то метнулся с заранее приготовленной иглой. В наскоро заметанных швах была вся палатка. Еще сутки назад ее просто потряхивало так, что скальпели слетали с дерматиновой скатерти. Еще пара часов – и швы расплзутся и останется один остов.
– Они смяли нас, раздавили, как гражданскую колонну!..
– Товарищ Касардин!..
Взрыв.
Через мгновение к столу санитары подтащили того, кто звал, – молоденького бойца. Уже без винтовки. Но с вывалившимися сизыми внутренностями. Мальчишка смотрел на них с изумлением, словно спрашивая: «Это чье?»
– На стол!..
Едва успели стащить танкиста.
Крики терзают слух. Моя голова уже давно не работает. Работают руки и кто-то, во мне сидящий и отвечающий за опыт хирурга.
– Товарищ Касардин...
– Лежи спокойно, жив будешь, не помрешь! – приказал я, понимая, что через двадцать минут этого мальчишки не станет.
– Товарищ военврач второго ранга... к бригаде...
На улице кто-то командовал артиллерийским расчетом. Очень удачно – гаубица рядом с палаткой. Никогда не знаешь, когда тебя оглушит.
Выстрел. Я стиснул зубы и схватился за уши.
– Пусть укатят пушку! – взревел я. Вперив взгляд в одного из санитаров, проорал что было мочи: – Скажи командиру батареи, чтобы укатили отсюда пушку, идиоты!.. Они что, совсем свихнулись?! У меня операции!..

Санитар исчез.

– Товарищ Касардин!..

– Что?

– Вас товарищ бригавоенврач вызывает!

Грохот. Комья дерна падают на палатку. Откуда дерн? Все ведь уже перепахали, хоть засеивай...

– Срочно вызывает! – намекнув на то, что я должен двигаться побыстрее, прокричал сквозь невообразимый шум очередной посыльный.

– А ты спроси его, кто встанет за стол!.. На стол!..

Я опустил взгляд, услышав звук уложенного тела. Женское лицо, залитое потом и искаженное гримасой страдания. Увидеть его здесь было столь же нелепо, как если бы я вдруг увидел входящего в палатку всесоюзного старосту Калинина.

– Что за... твою мать? – пробормотал я, не понимая, что происходит.

– Ага, мать! – подтвердила оглушенная грохнувшим вслед за моим вопросом взрывом медсестра. – Семь месяцев!..

– Откуда она здесь взялась?!

– Это жена командира роты Васильева!

Чтоб я сдох!

Родить сама девчонка не могла. Нервное истощение и постоянные крики вымотали ее и высосали все силы.

Кесарево. Боже правый... Комочек... Как вовремя ты появился на свет...

Взяв его за ноги, я опустил ребенка вниз головой. Через мгновение лепестки легких разлепились, и палатку оглушил бы еще один неестественный крик, будь у нас не семь месяцев, а девять... А сейчас я решительно не понимаю, как он выживет в таких условиях. Главное – сохранить мать.

– Унесите девочку отсюда скорее, – велел я одной из медсестер. – Будет обильное кровотечение – следить в оба!

– Товарищ Касардин!.. – уже истерично, почти обидчиво.

– Какого хера?!

– Вас бригавоен...

– Да, Канин зовет, я помню! Пошли его на хер! И сам за ним!..

– Не могу, товарищ Касардин!..

Взрыв...

– ...он меня под трибунал!..

Взрыв.

Дождавшись, когда на стол ляжет боец с легким ранением, я позвал медсестру и велел заниматься. Сам, как был – в окровавленном халате, давно переставшем быть белым, капая с прорезиненного передника кровью, вышел из палатки и направился за бойцом. Солдатик, смешно переставляя ноги, кричал мне в ухо – иначе было не услышать, – что могли его сейчас и расстрелять запросто, потому что обещано, и я бы пострадал... В общем, нес ахинею, связанную с шоковым состоянием. Мальчишке было лет девятнадцать, и он очень хотел жить. И пугала его не угроза бригавоенврача, а ад вокруг. Ржали кони, свистели осколки, сыпалась земля и, разрывая барабанные перепонки, ухали взрывы. Один за другим. Мне говорили раненые полковники, что пришел Буденный – это хана, что скоро под Уманью будет ад, что мы не готовы воевать. Но я относил это за счет того же шока. Не нужно было относить.

В палатку начальника я ворвался, как шмель, жужжа о собственной значимости. Без меня-де в операционной, как здесь при Буденном, – хана.

– Познакомьтесь, товарищ Касардин, – невозмутимо предложил бригадный врач, а попросту – главврач медсанбата Канин – профессор, в круглых очочках. Я знал его по Питеру

– первоклассный хирург. Тогда он носил пенсне – врач старой закалки, он разбирал на запасные части тела еще в Первую мировую. – Это сотрудник энкаведе (он так и сказал – «веде») Мазурин. Вам следует переодеться и немедленно следовать с ним в штаб.

– Ранен кто-то в штабе? – ничуть не удивляясь постановке вопроса, понимая, что раненый генерал куда важнее раненого бойца – война! – спросил я.

– Вы задаете слишком много вопросов, – заметил «веде» Мазурин.

– Я задал всего один.

– Это уже много. Переоденьтесь и следуйте за мной.

Я скинул передник, халат и попросил бойца принести из *той* палатки португую и фуражку.

Настроение Канина мне не нравилось. Он уводил взгляд и делал все возможное, чтобы Веде не стал свидетелем наших товарищеских отношений. Однако стоило Мазурину выглянуть из палатки на улицу, оценивая обстановку, он тут же бросил на меня сияющий из-под очков взгляд, поджал губы и плечи. И сразу же снова стал чужим – Веде возвращался в палатку, принимая из рук бойца скрученную, как спящий удав, мою португую. На моих глазах он выдернул мой «ТТ» из моей кобуры и, задрав полу гимнастерки, сунул себе в карман галифе.

– Может, и ремни мои заодно донесете?

– За мной.

Мы вышли из палатки, и Веде быстрым шагом направился к стоящей у кромки леса полукторке.

– Забирайтесь в кузов! – крикнул он, сам же, вскочив на подножку, крикнул шоферу: «В штаб!»

Я едва успел перевалиться через борт.

В кузове сидел и безумными глазами смотрел на мир солдатик. Боец Красной армии, он готов был сейчас на все, кроме защиты Родины. Я мог поставить десять к одному, что он в состоянии делирия.

– Штыком не заколи, вояка! – рявкнул я и улыбнулся.

Боец подхватил трехлинейку...

Машина мчалась по рокаде, поднимая столб пыли. Когда шофер тормозил, столб догонял кузов, и мы с бойцом оказывались в сером тумане. На зубах у меня скрипел песок, в глазах появилась резь. Я склонен к конъюнктивиту, но, боже мой, об этом ли сейчас говорить...

В Умань мы заехали через пятнадцать минут. Выпрыгнув из кабины точно мячик, Веде доскакал до кузова. Я спустился, и еще через минуту мы оба подходили к знакомому мне дому на окраине города. Здесь, в бывшей школе с расколотой вывеской, был образован временный штаб. Первый этаж.

У входа – суровый, тяжело дышащий майор. Держа перед собой наган, он втискивал в его барабан патроны. Каждый новый он доставал из кармана. Я пригляделся: на щеке револьвера красовалась сияющая начищенной медью плашка с гравировкой.

– Налево!

Налево. По коридору. Здесь тихо, но стекла уже дребезжат от взрывов. Все двери распахнуты настежь.

«А я говорю, у нас ни сил, ни средств!..» – Я повернул голову на этот крик, но заметил лишь форму цвета хаки.

«От мехкорпусов остались лишь несколько машин, а вы говорите!..»

– Нам сюда.

Наверх – по лестнице.

– Хотите чаю?

Это было первое, что я услышал из уст ожидавшего меня человека.

Я всмотрелся в его лицо.

Этого не может быть...

– Мы проиграли вступление. Или, как говорят писатели, мы неправильно выстроили композицию произведения, – сказав это, он сполз в кресле еще ниже. Теперь я стоял, а он почти лежал. – Нас будут бить и гнать до Москвы. Когда Ставка выйдет из комы – а чем раньше это произойдет, тем лучше, – у нас появится возможность защищаться.

Так же лежа он дотянулся до стоящего перед ним чайника, взял в правую руку.левой смахнул со стола кружку и посмотрел в нее одним глазом. Второй был зажмурен.

– Чистая, – и налил.

И – придвинул ко мне.

– Да вы сядьте, Касардин, не маячьте... – Сложив на груди руки, он задумчиво посмотрел в окно. Только прибыв с передовой и не успев перестроиться, я испытывал неловкость. Этот человек вел себя так, словно «Травиата» в Большом начиналась только через два часа и он не знал, как их убить. – Как странно устроен мир, доктор... Насколько огромна страна. Как далека Умань от Ленинграда. И вот проходит семь лет, и именно здесь, под Уманью, в котле, который скоро превратится в суший ад, встречаются двое знакомых людей.

Я глотнул чай. Я такой не пил уже недели три. Терпкий, душистый. Жаль, без сахара. Я не пью без сахара. Посмотрел на часы. Без четверти два.

А он пьет.

– Цепочка случайностей, связавших наши судьбы, – продолжал он. Гимнастерка была расстегнута на его груди, виднелось безупречной белизны белье. На войне безупречное белье носят три категории людей: кто приготовился к смерти и снобы. Оставшаяся категория – люди, не могущие ходить в белье грязном. Для них проще умереть. Этот человек относился, как мне кажется, именно к последней группе. – Первого декабря тридцать четвертого вы приезжаете в Ленинград, чтобы принять наследство умершей бабушки. И вследствие непреодолимых обстоятельств оказываетесь в Смольном. Я тоже появился там случайно. У нашего сотрудника заболел ребенок. Я подменил его и прибыл в Смольный в составе группы, контролирующей порядок. И именно в этот день, когда мы не по своей воле, а в силу непредвиденных обстоятельств сходимся в одном месте, стреляют в Кирова. Как знать, свиделись бы мы сейчас, если бы не мне, а другому сотруднику был отдан приказ догнать доктора, заносившего Кирова в кабинет? И встретились бы мы, если бы я вас не догнал? Что скажете?

И он наконец-то посмотрел на меня внимательно, сквозь прищур поверх кружки, из которой стал пить остывший чай. С удовольствием – крепкий, тяжелый, горький без сахара чай, да еще и холодный. Это нужно быть истинным любителем.

– Вы ждете моего ответа? – спросил я спустя некоторое время. Поначалу мне показалось, что вопрос риторичен и следует ждать продолжения.

Он поставил кружку на стол, отряхнул руки, тщательно их разглядывая, и только потом раскинул их в стороны и воскликнул:

– Конечно!

Очень похоже на игру актера провинциального любительского театра.

– Вам не понравится мой ответ.

Пахло хвоей. Я не знаю, почему именно ей. Елки в кабинете не было, Умань боррами не славится. Но в кабинете между тем висел устойчивый запах хвои.

– Если бы я хотел услышать от вас приятный ответ, я бы попросил вас вспомнить, как вам купили велосипед. Так что вы скажете о моих мыслях об удивительных превратностях судьбы?

Я поставил кружку на стол.

– Скажу, что слышу размышления ученика школы, не желающего учить философию. Ему проще выводить свою. – Заметив, как чекист напрягся, я подумал, не проще ли послать все подальше и спросить прямо в лоб, какого черта им нужно. Но мой язык уже был развязан. Пройдет еще немало времени, прежде чем в нем появится кость. – Вся жизнь наша – цепь

случайностей. Закономерных или необъяснимых. Если бы не вы меня тогда догнали, догнал бы другой. Он любил бы морковный сок и угощал меня сейчас именно им. И как странно – казалось бы ему – все случилось. Кирова убили первого декабря, и он мог бы пропустить тот день и не оказаться в Смольном, ведь у него заболел ребенок, и был даже тот, кто согласился его подменить, но он, ведомый долгом, все равно пошел на службу. И в это же самое время в Смольном оказался не тот врач, у которого умерла бабка, а другой, который приехал просить у знакомого члена партии протекции для преподавания в Ленинградском университете. И встретились бы они. И не под Уманью, а подо Львовом. Не так, так эдак. Но ведь вас удивляет не сам факт случайности, а что встретились именно мы, верно? – Я посмотрел на собеседника. – Вы склонны к преувеличению значения событий, которые связаны именно с вами. А сам факт случайностей вас не интересует.

Чекист улыбнулся. Я сжал челюсти.

– И пока мы сейчас беседуем с вами о случайностях и предаемся философским утехам, в палатке, из которой я был взят, проповедует смерть. Наверняка профессор Канин занял мое место, но он стар для бесконечной работы. Кроме того, последние десять лет он не практиковал. Как вы думаете – теперь спрашиваю я вас, – сколько людей умрет, пока мы с вами вспоминаем первое декабря того года?

– Еще много кто умрет, – неожиданно резко произнес он.

Я с нескрываемым интересом посмотрел на его губы. Сытые, влажные, розовые безупречные губы. Такими бы баб врасос целовать.

– И пусть умрут тысячи, – сказал он. – Главное – цель. Смысл существования единиц значительнее смерти миллионов. И одно большое дело стоит, чтобы умерли многие. Касардин, я хочу задать вам несколько вопросов.

Хвоя, определенно – хвоя. Я понял. Лучшие гробы – сосновые. Здесь пахло могилой, в которую только что опустили домовину.

– Расскажите мне правду о том дне.

– Я вас не понимаю.

Чекист вышел из-за стола, обошел его и опустился на край, оказавшись передо мной.

– Хорош ваньку валять, доктор... – прошептал он. – Ты оказался не в том месте в ненужное время. Та самая случайность. Случайности цепляются одна за другую, но за некоторые из них нужно отвечать. Скажи мне, что ты видел первого декабря тридцать четвертого в Смольном. Где ты был в тот момент, когда стреляли в Кирова, – расскажи.

– У вас есть документ...

Я качнулся. Его рука крепко держала мое горло.

– Я могу удавить тебя прямо сейчас. И я давно бы это сделал, поскольку мне неважно, что ты видел. Но я обязан знать, кто был с тобой в тот момент. Выстрел в Кирова. Кто видел, как он был сделан?! Кто, кроме тебя?

Я молчал. Он толкнул меня вперед и убрал руку. Вынул белоснежный платок – я оказался прав насчет аккуратности – и вытер руку.

– В Кирова стрелял Николаев, – кашлянув и чуть охрипнув, произнес какой-то другой хирург, не я. – Я вышел с секретарем Ленинградского горкома Угаровым из приемной...

– Лжешь!.. – На этот раз хватать меня чекист раздумал. Ему хватило и одного прикосновения к моей потной, грязной шее. Наклонившись ко мне – я почувствовал мимолетный запах одеколона, – он едва слышно прошептал: – Угаров сказал, что ты появился потом... Ты выходил из приемной... доктор... а потом зашел... и грянул выстрел...

Покачивая головой, я обреченно выдавил:

– Я не понимаю, о чем вы...

Чекист резко повернул голову и замер. Подняв взгляд, я увидел, что он, покусывая губу, смотрит в окно. Кажется, он думает, как со мной поступить.

– Ты был в том кабинете. Ты все видел. – Он говорил, не отрывая от окна взгляда. – Мне нужно знать, кто тот второй, что вошел в кабинет Кирова с тобой...

– Послушайте, я не знаю вашего имени...

– Владимир Шумов.

– Товарищ Шумов, сейчас идет война. Я врач. Я оперирую на передовой людей. Вы снимаете меня с рабочего места и задаете вопросы, от которых у меня на голове шевелятся волосы. – Я облизал сухие губы. Черт возьми, меня лихорадило... – Вы произносите речи, которые повергают меня в шок. Что вам от меня нужно?

Он медленно повернулся ко мне:

– Когда в кабинете Кострикова раздался выстрел, там были... Помимо Николаева там были вы и еще четыре человека. Имена всех вы знаете. Не был известен вам только Николаев. Вам повезло, что суд обошелся без вашего участия. Но сейчас ситуация немного изменилась. – Шумов покачал головой. – Александр Евгенич, Александр Евгенич... Что вы с собой делаете...

– Я? Что с собой делаю – я?

Шумов вынул платок и вытер лоб.

– Просто скажите, кто первого декабря тридцать четвертого вошел в кабинет Кирова с вами под руку. И можете отправляться отрезать конечности.

Я покачал головой.

– Вы можете делать со мной что хотите, но правда вся – в документах, мной подписанных.

– Мазурин!..

Холод пробежал по моему телу.

Веде словно ждал, что его вызовут. Не успел крик Шумова прокатиться по кабинету, как дверь распахнулась.

– Товарищ Мазурин. – Чекист бросил взгляд на наручные часы. – У нас осталось не больше двух часов. – И – мне: – Очень жаль.

Ответить я не успел. Удар сзади по шее вытряхнул из меня сознание, как мельник вытряхивает из пустого мешка мучную пыль...

* * *

Очнувшись, я понял, что по-прежнему сижу. Только теперь руки и ноги мои были привязаны к стулу, а сам стул придвинут к стене. Из носа противной струйкой сочится кровь. «Надо же так мастерски сзади ударить, чтобы нос разбить», – корявой походкой прошлась по закоулкам моего соображения мысль. Но вскоре, ощутив боль, в самурайских возможностях Мазурина я разочаровался. Мой нос был разбит не ударом сзади, а расквашен о столешницу, на которой сидел Шумов.

А вот и сам Мазурин. Станным делом он занимается. Скрутил патрон с проводки, свисающей с потолка, и теперь широкими движениями локтей что-то прикручивает на его место. Опустив, точнее, уронив голову – я все еще ее не контролировал, – я заметил длинный двухжильный провод. Метров пять-шесть, наверное.

Странно все, что со мной сегодня происходит. Но еще страннее люди, которые рядом со мной в этот день.

Мазурин между тем закончил свои дела и вышел в коридор. Сквозь далекий шум разрывов я слышал его звонкие шаги по пустому коридору. Где-то внизу кипела жизнь. Кричали в трубки телефонисты, полковники просили помощи, звучали цифры, названия населенных пунктов, но здесь, на втором этаже школы, было тихо. Так и должно быть, наверное. Учиться математике на втором этаже было бы невозможно, когда бы на первом на уроке пения дети пели «По долинам и по взгорьям».

По долинам и по взгорьям... Кажется, я догадываюсь, что сейчас будет происходить. Такие же чувства я, врач, испытываю в кабинете стоматолога. Непреодолимое чувство страха, которое не может подавить даже медицинское образование. Причиной моей догадки стал грохот и последовавший вслед за ним шелчок в коридоре. Человеческий мозг реагирует на известные звуки безошибочно. Раздалась за окнами трель – не просыпаясь, легко догадаться, что пошел первый трамвай по Садовому. Послышался натянутый хлопок через стенку – соседи откупорили шампанское. Значит, праздник у них. А загремел щиток в подъезде – кто-то снова вкрутил пробки. Значит, будет электричество. Значит, будет свет.

Хотя нет. Света здесь не ожидается. Хотя электричество уже здесь. Пришло и ждет, куда его направят. Оно привыкло терпеливо ждать и начинать свой бег молниеносно. Не разбираясь, для чего этот бег предназначен. Электричество привыкло быть полезным людям.

Захватив со стола графин с водой, Шумов направился ко мне.

– Это очень неприятно, Александр Евгенич. Как врач, вы должны знать это. Я вас спрошу еще один раз. Но только для очистки совести, которую в отношении вас использую просто расточительно: кто был с вами в тот момент, когда раздался выстрел в Кирова?

– Вы с ума сошли, – прохрипел я. Сердце мое выпрыгивало из груди.

Он покачал головой, потом вдруг перевернул над моей головой графин и стал лить воду.

Отфыркиваясь и уводя голову в сторону, я лишь облегчал Шумову работу. Через несколько секунд я промок до нитки.

– Мазурин...

Аккуратно, чтобы, не дай бог, не взяться за оголенный конец, чекист ухватил провод и сразу стал похож на змеелова. Из руки его торчала голова гадюки, а из пасти ее – раздвоенный язык...

Раздался легкий хруст. Я посмотрел на пол. Мазурин ступал по срезанной им оболочке провода. Старательности его можно было позавидовать – оба конца были оголены на пять сантиметров, разведены в стороны и разогнуты буквой П. Острия этой буквы и вонзились мне в правый бок.

Огонь пронзил мой мозг, я дернулся, но кричать не мог. Кратковременный паралич внутренних органов...

Когда провод отошел от моего тела, меня заколотила дрожь. Благодаря воде удар пришелся не в бок, а по всей площади моего тела.

– Касардин, вы умный человек. Назовите имя того человека, и я тотчас отправлю вас на передовую. Даю слово чекиста.

Именно последнее уверило меня в том, что лучше немного помолчать. Поэтому просьба Шумова мной хотя и была услышана, но удовольствия от этого он не получил.

Как-то сразу успокоилось сердце... Просто наступил период плоховизны. Было плохо по всем статьям.

– Мазурин...

И за секунду до того, как жало снова вонзилось в мое тело, мой старый знакомый закричал:

– Кто был в кабинете Кирова в момент убийства вместе с вами?! За минуту до того, как его выволокли в коридор, – кто был вместе с вами?!

И жало укусило меня. Мне показалось, что змея распахнула свою пасть и, прежде чем заглотить, облила ядовитой слюной...

Киров... Звук первого трамвая... Первое мая и – Молотов на трибуне... Оголенные, раздвинутые женские ноги... я вижу даже треугольник волос и взволнованное влагище... «Товарищи... революция... не будет пощады врагам...» Я, гимназист, стою неподалеку от Зимнего и вижу, как матросы тащат, на ходу срывая с них шинели, плачущих баб из женского батальона... Кто-то кричит, мат... «Убью, сука!.. Раздвинь ноги!..» Киров... запах пороха...

Удар в лицо. Жадно схватив ртом воздух, я откинулся на спину. Сердце билось с переборами, оно переворачивалось, как голубь в воздушном потоке...

Это запах не пороха. Кажется, Мазурин переборщил с контактом. Мой правый бок разрывается от боли, и я чувствую запах себя, поджаренного...

Шумов хватает меня за волосы и откидывает голову назад. Я смотрю мимо него в потолок.

– Ты сдохнешь, тварь! Ты сдохнешь, и никто не узнает как! А женщине по имени Юлия очень бы хотелось увидеть тебя живым!

Юля... Откуда ему знать о ее существовании? Боже... быть может, он прав, и мир на самом деле тесен до отворачивания? Быть может, что-то есть в этой примитивной логике убийцы? – как удивительно все совпадает... А может быть, цепь совпадений на этот раз благоволиительно отнеслась и ко мне, уложив в воображаемую папку в голове Шумова сведения о другой Юле, не этой?..

– Какая Ю-ля?.. – преодолевая последствия поражения электричеством, выдавил я.

Заинтересованный – я бы тоже заинтересовался – Шумов подошел и с размаху чиркнул спичкой о коробок. Вижу ясно на коробке этикетку: «Прячьте спички от детей!» Потянуло табачным дымом. Вместе с вонью пережаренного мяса на выходе получается не очень приятный букет, но я не прочь был бы сейчас затянуться...

И тут же меня вырвало.

Прямо ему под ноги.

– Юлия Николаевна Птицына, одна тысяча девятьсот девятого года рождения, уроженка города Москвы. Проживает по адресу: Моховая, пять. – Чекист с шумом выпустил дым сквозь влажные, сытые губы. – Да та Юля, та, Александр Евгенич! Что прикажете с ней делать? Она в Лефортове, в ожидании чуда! Сказать ей, что вы спасли случайного знакомого, пожертвовав ею?

Я опустил голову. С носа капает кровь, с волос – вода. Меня трясет.

– Вы находите свое положение смешным? – удивился Мазурин. – Что это вас так разве-селило?

Подняв лицо, я беззвучный смех превратил в хохот.

– Это не та Юля!..

Меня развозило от хохота, как от спирта, все больше.

Приняв мое веселье за психопатический криз, Шумов старательно отлупил меня по лицу. Таблетка не подействовала. Других лекарств он не знал. Зато Мазурин по части медицины был более образован. Он просто ткнул меня своей вилкой в плечо. И я сразу успокоился. Все-таки есть у них в комиссариате светлые головы.

Скусив с мундштука папиросы треть, Шумов сплюнул в угол.

За окном гремело с прежней периодичностью. Звенели стекла, когда рвался снаряд гаубицы. За окном шел тридцать первый день июля года сорок первого. А я сидел на стуле в первом декабря тридцать четвертого года.

– Вы невыносимо тяжелый человек, Касардин. Вы глупее, чем я рассчитывал.

– А насколько глупым вы представляли меня изначально?

Не найдя что на это ответить, Шумов ногой допинал стоящий у дверей комнаты табурет до меня и сел.

– Вы обстоятельный человек, Александр Евгеньевич, верно? – заметил он между двумя затяжками. – Поэтому с вами нужно обстоятельно. Давайте же попробуем. Куда нам торопиться и чем рисковать, правда? Куда мы отсюда, на хер, денемся? Здесь только кольцо окружения, посреди которого – вы, свидетель убийства Кирова, и я, начальник особого отдела НКВД. – Присмотревшись ко мне, ища реакцию, он не нашел и вынужден был продолжить: – Какие почести для одного хирурга, верно? Сколько экспрессии и значимости для одного-единствен-

ного допроса! Один из руководителей НКВД приезжает на фронт, умышленно оказываясь в кольце окружения, чтобы поговорить по душам с каким-то там врачом... – Шумов рассмеялся. Я видел его острые зубы, они были очень ровные и белые. – Вы требуете обстоятельности, брезгуя разговаривать с человеком, которого вы запомнили по серой шинели и сбитым сапогам.

Он придвинул табурет ближе. Я вообще заметил, что он испытывает ко мне какое-то странное притяжение.

– Освежим в памяти события семилетней давности.

– Я слишком слаб, чтобы ностальгировать.

– Ничего похожего, – отрезал он. – Вы врите. Вы сильный человек. И оттого желание мое разговаривать вас утраивается.

Я представил такую картину. Шумова вдруг куда-то вызывает ушедший пару минут назад за водой Мазурин. Тот легкомысленно покидает помещение. За это время я развязываю узлы на веревках, встаю и подхожу к окну. Открываю его, перелезаю и прыгаю вниз. Через час я в лесу. Там, где не слышны разрывы снарядов и не пахнет хвоей... нахожу родник, напиваюсь... и уже здесь, вдали от страха, принимаю верное решение...

– Только попробуй мне потерять сознание!.. – Удар по лицу привел меня в чувство.

Нет, все-таки человек – тварь безнадежно оптимистичная. Я верю в жизнь даже сейчас.

Он встал, еще раз посмотрел на дверь и сунул руки в карманы галифе. Потом перевел взгляд на меня.

– Кажется, вы недооцениваете серьезность ситуации. Зачем бы мне, если дело плевое, тащиться сюда, зная, что могу отсюда не выйти? Я приехал, потому что не сегодня завтра вы окажетесь в плену и будете убиты. Но я не знаю имени и местонахождения человека, который вошел с вами в кабинет в Смольном, когда Киров получил пулю в голову... На суде прозвучало: «Зиновьев сказал, что «троцкисты», по предложению Троцкого, приступили к организации убийства Сталина и что мы, «зиновьевцы», должны взять инициативу дела убийства Сталина в свои руки. После этого заявления десятки тысяч человек исчезли с лица Земли. И я бы так не нервничал, когда бы не сидел передо мной сейчас человек, который может сделать заявление, опровергающее справедливость такого возмездия.

Шумов наклонился и схватил меня за шею.

– И не один он... Их двое! Одного я знаю. Второго – нет. И я сдохну, но выбью из тебя это имя.

Уйдя к столу, Шумов несколько минут покачивался с пятки на носок, разглядывая портрет вождя мирового пролетариата, висящий над столом. А потом развернулся и бросился ко мне.

– И я узнаю это имя, ты понял?!

Я качнул головой. Я понял, что имя второго он не узнает.

– А к чему такая спешка, Шумов?

После этого вопроса он смотрел на меня до тех пор, пока не пришел Мазурин.

– Снять с него форму подполковника Красной армии, выдать форму бойца. Поместить в подвал. Выставить охрану. Через полчаса «эмка» должна быть направлена.

Помявшись, Мазурин тихо спросил, словно нехотя:

– Зачем ему форма красноармейца?

– Это не Ленинград!.. – По лицу Шумова я догадался, какое слово не прозвучало.

Усмехнувшись, я ему помог, объяснил Мазурину:

– Здесь командиры на вес золота, электрик Мазурин. Командовать скоро некому будет.

Увидят вас, чекистов, уводящих в тыл командира, и голову снимут. Здесь сейчас плохо разбирают – НКВД или не НКВД...

Грязно выругавшись, Мазурин ушел, и только тогда Шумов выдохнул: «Идиот...» Но не успел он собрать вещи – закидать в вещмешок кружку и полотенце с кровати, как спутник его

пришел. Под ноги мне упали ношенная гимнастерка и красноармейские портки с обмотками. Второй рукой Мазурин метнул мне под ноги тяжелые ботинки.

Пока я передевался, Шумов бегло просматривал мои документы. Меж листов записной книжки он нашел фотокарточку Юлии. Смотрел с удивлением в ее улыбающееся лицо, потом рассмеялся – нервно, отрывисто, и быстрым шагом подошел ко мне.

– Не та, говоришь?! Ай, Александр Евгенич, Александр Евгенич...

Кажется, ему доставляло удовольствие повторять мое имя по два раза.

И спустя десять минут я сидел на прохладном, но сухом полу школьного подвала. Стены толщиной в полметра, оконце размером с голову ребенка. Перемена мест не потрясала. Только что я оперировал, а вот сейчас с разбитым лицом (Мазурин напоследок, за то, что его послали принести мне вещи, кулаком сунул) сижу в подвале.

Только сейчас почувствовал, насколько голоден. И как сильно вымотался – усталость недугом навалилась сразу. Сначала я повалился с завязанными за спиной руками на бок. А потом уснул.

* * *

...Мы выходим с Яковом из Смольного, спускаемся с крыльца и быстро идем до двух арочных ворот, открывающих выход на Смольный проезд. Там он берет мою руку, крепко сжимает и почти тащит за собой.

Мы бежим.

Странно видеть – это почти побег.

– Запомни, Саша... – взволнованно хрипит он. – Запомни, дорогой... То, что ты видел сейчас в этом здании «Воспитательного общества благородных девиц», – забудь!.. – Он нервничает, ищет папиросы. – Забудь навсегда! Ты только что подписал себе смертный приговор. Я был с тобой, меня видели, двое или трое цеплялись за меня взглядом, когда я волок Кирова за ногу. Ерунда, что волокли к выходу пятеро. Главное, что из пятерых один – ты, имя которого теперь известно, а второй – я, у которого в суматохе его забыли спросить!

Мы переходим на более спокойный шаг, выравнивается и речь Якова.

– Саша... – еврей, он имя мое произносит с необыкновенным придыханием – словно утопая на «а». – Саша, ты должен забыть, что я был с тобой. Ты никогда не должен помнить имя мое, возраст и приметы... Меня там не было, понял?

– Да что с тобой происходит? – удивляюсь я.

– Ты как ребенок, я поражаюсь на тебя! – возмущается он. – Ты на самом деле хочешь сообщить мне, что большой ребенок? Тогда можешь не тратить силы. Я в этом только что убедился своими глазами!

Поскольку я молчу, а вопрос до конца не решен, Яков снова берет меня за руку. Эта привычка с юношеских лет хватать меня за руку меня нервирует. Сначала я защищал его во дворе от шпаны, потом водил к женщине. И каждый раз, волнуясь, он брал меня за руку, потому что за руку его едва ли не до пятнадцати лет водила мама, уважаемая мною Рошель Самуиловна. Вот и сейчас, несмотря на то что руку я вырываю, он ее ищет.

– Когда завтра придут в мой дом и зарежут Сарочку, Саша, когда арестуют маму, вспомни слова, что я только что тебе говорил. Киров – не зверь и не герой, но не нужно быть ни тем ни другим, чтобы изменить чью-то судьбу. Наитие подсказывает мне, что после этой смерти... видел бы мой папа то, что видел я, быть может, я получился бы чуть мужественнее... так вот, после этой смерти будет много смертей. И я не хочу, чтобы твое или мое имя было в списке.

– Ты хочешь, чтобы прибили меня одного, я правильно понял? – Наконец-то наступил момент, когда мне можно по-человечески понятно психануть.

Но встревоженный еврей всегда мудрее нервного русского.

– Саша, не доводи меня до иступления своей глупостью. Нас было двое – все это видели. Рано или поздно об этом вспомнят. Скажут – а кто тот еврей, что вместе с Касардиным волок вождя ленинградских чекистов к двери мимо Николаева? И тогда будут искать тебя, Саша... – Яков закурил, наклонившись к моей спичке, и благодарно кивнул. – Потому что хирурга из больницы НКВД в Москве знают все, а еврея с улицы Чугунной никто не знает, кроме его мамы, дай бог ей здоровья. Но второй нужен будет непременно...

– Да кому он будет нужен, второй?

– Нет, я разговариваю с недалеким человеком, – огорчился Яша. – Второй нужен будет, чтобы пришить. Но его не пришьют, пока первый не назовет его имя.

– Мило.

– Умно, – поправил он. – Потому что пока первый не назовет имя, он будет жить.

– Ты окошмариваешь ситуацию.

– Я окошмариваю? – испугался Яков. – Дай бог, чтобы я оказался самым ужасным кошмаром в твоей жизни.

За убийство Кирова ответили тридцать пять тысяч человек в течение двух последующих после событий в Смольном лет. Из них тысяч тридцать ни разу не видели Кирова.

Странно, что разговор этот я вспомнил только сейчас. С разбитым лицом и связанными руками, лежа на полу школьного подвала где-то на Украине, во сне...

Оторвав от пола голову, я почувствовал, что происходит что-то неладное. Я находился в полной тьме. Привстав и невольно застонав от пронзившей руки боли, я прислонился к стене. Духота в подвале, что еще десять минут назад душила меня, куда-то выветрилась. На смену ей пришел холод.

Но поразило меня не это.

Вокруг меня звенела гробовая, страшная тишина.

Мое сердце мгновенно удвоило пульс. А может, я и есть... в гробу?

Вставая и падая, цепляясь руками за шершавую шубу стены, я поднялся на ноги. Из-за того, что вращался на полу, пытаюсь ослабить путы, я теперь не мог понять, где находится окошко. Мне казалось, что именно оно должно меня успокоить. Найди я его – и вздохну с облегчением. Но если потеряю – задохнусь или сойду с ума.

Крепко встав на ноги, я сделал несколько шагов.

Такое впечатление, что совершил эти движения в полной пустоте мира. Нет ничего, кроме темноты, пустоты и меня.

И в это мгновение щека почувствовала холодок. Я сделал шаг назад и наконец-то поймал поток воздуха. Повернув голову, увидел едва заметный, темно-фиолетовый прямоугольник на черном фоне. Малевича бы сюда...

Осторожно, чтобы не разбить голову или колени, я приблизился к оконцу. Прижался спиной к стене и вздрогнул, когда где-то вдалеке, пошатнув тишину, тявкнула собака.

Собака? Здесь? Жива?! Последнее показалось мне настолько удивительным, что губы мои растянулись в улыбке. Столько грохота и после – такое веселое «тявк!».

Прохлада струилась сверху мне на шею. И когда я подумал, что как же хорошо, что пропитанный потом воротник гимнастерки под этим дуновением сохнет, я тут же вспомнил, что это воротник – чужой солдатской гимнастерки...

Через полчаса «эмка» должна быть запровлена.

Я словно услышал голос Шумова.

Через полчаса.

Последний раз я смотрел на часы в помещении, где мы с чекистом пили чай. Стрелки показывали тринадцать сорок пять.

Ошеломленный, я отстранился от стены. Все это время я спал. Я не слышал, когда закончилась стрельба. Уснул я под канонаду и разрывы снарядов, а сейчас за стенами школы царила совершенно необъяснимая тишина. Шумов сказал – «через полчаса». Это значит, что в четырнадцать пятнадцать они должны были поднять меня из подвала, усадить в машину и вывезти из Умани. Но сейчас...

Забыв, что связан, я машинально дернул левой рукой. Впрочем, если бы я и не был связан, установить время у меня бы не получилось. Мои часы вместе с документами остались у Шумова.

Что происходит?

Я вспомнил, что, когда меня вталкивали в подвал и было еще светло, в углу я заметил какой-то предмет. Потом глаза привыкли к темноте, и я отчетливо различал поставленную на попа школьную парту. Пора избавляться от веревок.

Сделав несколько шагов, я бедром уткнулся в ученический стол. Встал к нему спиной и нашел руками откидывающуюся крышку. Повернул ее и нащупал металлический навес. Присев и прижав руки, я стал с силой тереть веревку о металл...

Через пять минут я взмок. Но лучше взмокнуть, чем потерять руки. Они уже почти не слушались меня. Уже почти лежа спиной и изнемогая от неудобств, я почувствовал, как одна из жил лопнула. Но рукам легче не стало.

Идиот Мазурин! Надеюсь на то, что за полчаса со мной ничего не случится, он связал меня, как чемодан для перевозки до Минвод!

Через пятнадцать или двадцать минут, а быть может, и через десять – трудно ориентироваться во времени, превозмогая резь во всем теле, – я упал на парту. Мои руки, как неконтролируемые конечности марионетки, упали по швам.

– Маразм какой-то, – не выдержал я.

Эти два скота решили везти меня не днем, а ночью, видимо. Наверное, немцы сжали кольцо окружения и теперь вынырнуть из него можно было только при лунном свете.

Разминая руки и уже привыкнув к темноте, я стал ходить по подвалу. Дверь уже проверил. Пройти через нее было так же невозможно, как через задраенный люк танка. Не знаю, зачем в подвалах украинских школ вставляют двери, обшитые листами железа и с коваными петлями. Ключ от замка мне представлялся полуметровым, загнутым на одном конце и имеющим петлю на другом ломом. Сначала я отбил об эту створку все руки, потом ноги.

Вопрос «что делать» меня не посещал. Когда знаешь, что арестован, такие вопросы голову не посещают. Это не твое дело. Ответ знают те, кто за тобой придет.

* * *

С тех пор Якова я видел только один раз. Перед самой войной он с сестрой – Рошель Самуиловна к тому моменту уже умерла, своей смертью, к счастью, – уезжал из Ленинграда в Казань. Не знаю, что собирался делать еврей среди татар, но ему виднее. Яков говорил на вокзале, что там у него дядя, но первый признак Яшиной лжи – это устремленный мимо меня взгляд. И в тот день, перед самым отправлением поезда, он говорил и смотрел мимо меня:

– Я очень хочу забыть тот день, но не могу. Прошло шесть лет, а я все помню – ты – за правую ногу, я – за левую... А за руки и плечи – трое коммунистов... – Всех в Ленинграде, кто носил галифе и сапоги, он называл коммунистами. А поскольку в середине тридцатых так одевались все, Яков называл коммунистами всех. Было в этом какое-то сознательное противостояние – вокруг коммунисты, и посреди этого сонма чудовищ – он, жид. – Но что бы ни случилось дальше, Са-аша-а, не упоминай моего имени.

– Напишешь мне? – спросил я, точно зная, что не напишет.

– Конечно, Саша, как только устроюсь, сразу дам знать, – ответил он, хорошо понимая, что не даст.

Первого декабря тридцать четвертого мы встретились с ним в Смольном случайно. Я приходил по вопросу бабкиной квартиры, он хлопотал о выплате пособия. Семья Яшина жила очень плохо, отец погиб в восемнадцатом, мать постоянно болела, и они перебрались в Ленинград, где жили их родственники. В марте тридцать четвертого я провожал их на вокзале так же, как в сороковом провожал в Казань. В Смольный Яшку допустили после разрешения, его вопрос улаживался. И я случайно увидел его в коридоре третьего этажа. Мы сели рядом и разговорились.

Я видел краем глаза Кирова. Он входил в свой кабинет с папкой под мышкой. Кивнул кому-то Сергей Миронович, улыбнулся, отпер дверь ключом и вошел...

– Плохо живем, Саша, – жаловался Яшка. – Жрать бывает совсем нечего...

– Что же ты, хороняка, на работу не устроишься? – возмутился я. – У тебя семья – сестра, дылда уже здоровая. Запросто на рабфаке учиться может и на заводе рубли получать, и ты, лось!.. У тебя только мать больна, но неужто вы вдвоем ее не прокормите?

Через минуту я увидел, как к кабинету Кирова подходит невысокого роста, бледный, почти тшедушный мужчина. Правую руку он держал в кармане, вторая висела вдоль тела, и кулак – я почему-то заметил это отчетливо – то сжимался, то разжимался...

Я впервые видел этого хлюпика. Не знаю почему, но я сразу проникся к нему неприязнью. Мужчины, которые не стремятся стать чуть больше в условиях, когда природа обидела их ростом, кажутся мне неполноценными. Черт возьми, нужно же что-то делать, чтобы при таком росте не быть таким худым! Например, кидать гирию и за грудой мышц скрывать маленький рост!

Было очевидно для меня, что парень этот – коммунист. Если ориентироваться на Яшкино гардеробное представление о человеке, так оно и было. Шинель, галифе, сапоги, гимнастерка – все новенькое, ухоженное...

– Ты забыл, что у меня язва? – обиделся Яша.

– Ах да, конечно, – вспомнил я, убирая ноги с прохода, чтобы не мешали служащим, – когда мы познакомились, а дело было в девятьсот девятом, она у тебя уже была. Но на память мне, как доктору, не приходит ни единого случая, когда бы ты страдал от приступа.

– И потом, ты знаешь мое положение... По субботам...

– Прости, запамятовал. Я снова невнимателен к твоим проблемам. Мы же по субботам не работаем. Тем более по воскресеньям. А тут субботники, пятилетки в четыре года. Какой дурак придумал эти темпы? Он что, не знал, что по субботам нормальные люди к труду не обращаются?

– В голосе твоём, Саша, звучат отвратительные нотки юдофобии. Не удивлюсь, если ты однажды – я так думаю, в тот момент, когда пятилетки решено будет считать как два года, – упрекнешь меня за то, что я не считаю Христа мессией. И предъявишь-таки претензии на тот счет, что мой народ участвовал в его распятии.

Мужчина у кабинета Кирова взялся за ручку двери.

– Если ты не заткнешь свой рот, нас накроют и водворят в психушку, – проговорил я. – Говорить такие речи у кабинета человека, разрушившего сорок семь церквей за десять лет, не обязательно.

Мужчина открыл дверь...

– Послушай! – Меня окрылил тот факт, что Сергей Миронович, судя по его улыбке, находится в добром расположении духа, а именно в такие мгновения человек предрасположен к актам милосердия. И дважды вдохновил – что в кабинет самого великого из питерцев, оказывается, можно попасть вот так запросто – повернув ручку двери. – Мы идем к Кирову!

– Оставь эти шутки для другого еврея!

– Для другого еврея у меня другие шутки!

Схватив Яшку за рукав, я оторвал его от лавки и поволок к кабинету.

– Мы сейчас зайдем, и ты скажешь: «Сергей Миронович, доброго вам здравия! Моя семья умирает с голоду!» А я представлюсь и добавлю, что в заявлении этом нет ни капли лжи.

– Нет, на такое безумие я никогда не пойду, – бубнил Яшка, однако же шел. – Моя семья уже не мажет икру на хлеб, но еще не пухнет...

– Сделай виноватую морду, – приказал я, берясь за ручку. – Когда она такая, даже мне хочется дать тебе денег.

Повернув ее до щелчка, я распахнул дверь, и мы вошли...

Когда я сделал первый шаг внутрь, члены мои сковало ужасом. Впрочем, был это, наверное, даже не ужас. Еще не ужас. Оцепенение. Коматоз.

Я слышал, как забилося Яшкино сердце.

Раздался выстрел...

* * *

«Тявк!» – снова прозвучало на улице, но уже ближе.

Есть, что удивительно, не хотелось.

Но выпил бы воды я сейчас ведро, наверное...

– Никогда!.. Никогда, ты слышишь, не упоминай мое имя в этой связи! – просил он, шагая по улице. – И никогда! – запомни! – не рассказывай правды! Даже если спустя две минуты я попрошу тебя напомнить эту историю, ты... Что ты должен мне рассказать?

Его нужно успокоить. Иначе он или с ума сойдет, или меня сведет.

– Мы сидели...

– Не «мы»!!

– Прости, я совершенно выбился с тобой из сил. – Я положил на его вздрагивающее плечо руку. – Я! я пришел в Смольный, чтобы просить за квартиру своей покойной бабушки. Сидел у кабинета уполномоченного по жилищным вопросам. Увидел, как по коридору идет Сергей Миронович Киров. Вождь ленинградских коммунистов. Сзади к нему неожиданно подскочил, как было установлено позже органами, Николаев, выхватил револьвер и выстрелил. Сергей Миронович, уже почти войдя в кабинет, упал замертво на пороге. Сразу после этого Николаев закричал: «Мой выстрел пронесется сквозь века!» – и попытался выстрелить себе в висок. Но подоспевшая охрана помешала злодею осуществить свой коварный замысел по уходу от ответственности. И враг был задержан... – Проговорив все это в точном соответствии с документом, который подписал час назад, я облегченно вздохнул.

– Все правильно, – подтвердил Яшка. – И в дальнейшем, кто бы тебя ни спрашивал, в бреду ли, нетрезвый ли, под пытками, ты повторяй только эту историю. – Он растер пальцами нос – еще одна вредная привычка этого человека. – Только эту! И вот еще что... Не хочу предсказывать, но что-то подсказывает мне, что жив ты будешь до тех пор, пока не назовешь мое имя.

Это было уже слишком. Нельзя же столько раз просить об одном и том же. Особенно когда видимых причин для того нет никаких.

– Яша, еще немного, и я попрошу *тебя* забыть *обо мне*. Система выживания, которой ты придерживаешься, кажется мне немного... безнравственной, что ли, и – чересчур предусмотрительной. И то и другое мне не нравится.

Мы расстались на Невском.

– Нравится не нравится, – повторил он, и я понял, что слова мои совесть его все-таки царапнули, – но ты вспомнишь меня, когда появится вдруг человек, который спросит тебя: «Кто тот второй?»

– Прощай навсегда, скотина.

– До завтра.

Завтра мы действительно встретились. Он провожал меня в Москву. На следующий день он отправил свое и мое заявление по почте, и через два месяца нам почти одновременно пришли ответы из Смольного. Мне было дано разрешение на вселение в ленинградскую квартиру. Думаю, похлопотал один из моих пациентов в московской больнице НКВД. Яшке было написано: «В удовлетворении вашей просьбы о получении пособия отказано».

– Конечно, – сказал мне в сороковом, на вокзале, вспоминая этот случай, Яков, – я же еврей. Ты помнишь наш разговор?

Я помнил.

А тридцать первого июля следующего года, спустя полтора года после расставания и почти семь лет после выстрелов в Смольном, я услышал вопрос, отвечать на который Яшка мне не рекомендовал.

Сказал бы мне кто-нибудь, зачем сейчас, когда немцы входят в СССР, как нож в масло, когда вот-вот они появятся у стен Москвы, в украинской глуши, в окружении, рискуя головой, вдруг появляются двое чекистов с Лубянки, расспрашивая меня о свидетеле убийства Кирова. Даже сейчас, в странной тишине и зловещем мраке, мне казалось это каким-то ирреальным событием. Мало того, они хотят вывезти меня из окружения – вырвать из лап смерти, чтобы замучить (а для чего же еще? – после проводов-то...) в Москве. Бред...

Кому в эти минуты понадобилась фамилия второго свидетеля?

И вдруг в голову мне совершенно неожиданно, не по моей воле, свалилась мысль: «А почему я до сих пор жив, собственно?..»

Потому что Шумов не может меня убить, пока я не назову Яшкину фамилию.

Сукин сын Яшка оказался, как всегда, прав...

А почему они не вырвали клещами имя здесь, в школе? Порадовали электричеством – и все, как дети... Неужто методов не знают?

Знают... А дело в том, что пытать командира, хотя бы и врача, сейчас, здесь, когда фашисты убивают рядовых Красной армии, оставшихся без командиров, это... Их бы самих тут оставили. И они решили все сделать по-человечески. То есть вывезти меня для пыток из окружения.

Есть не хочу.

Умираю от жажды. И от какой-то странной усталости. Видимо, это результат разговора с Шумовым...

Я сел на пол, потом беспомощно завалился на бок. И почувствовал, что снова засыпаю...

* * *

На этот раз очнулся я не от собственных рассуждений, а в принудительном порядке. Кто-то молотил в дверь. Моргая и смахивая с лица сонную вязь, я уселся на полу, ожидая в такой позе и встретить Шумова.

И только сейчас сообразил, что Шумову незачем стучаться в эту дверь. Мазурин запер меня и ушел. Я посмотрел в оконце. Там было светло как днем. Наверное, день и был. Луч света, пронзая комнату, лежал на пыльном полу квадратом. Теперь от его черноты Малевича не осталось и следа. Скорее это был квадрат Ван Гога – по сочности цвета красок равных Винсенту не было.

Дверь сотрясалась от ударов, но я-то уже знал, чем это заканчивается. Отбитыми конечностями. До меня доносились даже не обрывки речи, а просто звуки, издаваемые человеческой глоткой. Разобрать нельзя было ни слова. Наверное, раньше это была не школа вовсе, а штаб-квартира Мазепы. И здесь, где теперь сижу я, сидели его пленники. Мысль о том, что сюда могли запирать нерадивых советских учеников, в мою голову пришла, но последней. Сразу после того, как стук и болтовня снаружи, в подвале, прекратились.

И снова – тишина, хоть ножом ее пластай.

– Да что же это такое? – уже нервно прокричал я.

Словно в ответ на это о дверь с той стороны что-то стукнулось и упало на пол.

– Кретины, – пробормотал я, отвернувшись к оконцу...

Это и спасло мои глаза.

Последовавший через несколько секунд после этого взрыв повалил меня на пол. В ушах словно разорвались запалы. Пытаясь сообразить, целы ли барабанные перепонки, я схватился руками за голову и понял, что лежу в углу помещения...

Одурев от неожиданности, хватая ртом воздух, я встал на колени, опершись локтями в пол.

Передо мной топтались сапоги, что-то звучало, я слышал, но не мог сообразить – что.

Странные сапоги. Шумов носил другие. Да и вообще. Необычные сапоги, непривычные...

Додумать мысль до конца я не успел.

Сильнейший удар в грудь опрокинул меня на спину. Показалось, что меня даже оторвало от земли. Но с моим весом в восемьдесят кило...

Мои руки и ноги двигались сами. Перебирая ими, я отполз в глубь подвала...

Передо мной мельтешили в клубах неоседающей пыли тени, но я различал и идентифицировал их смутно, они словно играли вторую роль, причем роль неприятную – мешали разглядывать разломанную взрывом ручной гранаты дубовую дверь. Она лежала плашмя, и из нее местами, словно мальчишеские вихры, торчали светловолосые щепки...

Я закрыл лицо руками, это все, что я мог сделать. От меня не зависело уже ничего. Поднял взгляд, оторвав его от двери, и увидел то, что неминуемо должен был увидеть, наконец-то разобрав среди звенящего шума в ушах немецкую речь, – немецких солдат.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.